

**ЛОГОС #5 (56) 2006**  
философско-литературный журнал  
издается с 1991 г., выходит 6 раз в год

Главный редактор *Валерий Анашвили*

**Редакционная коллегия**

*Виталий Куренной* (научный редактор),  
*Вадим Руднев* (ответственный секретарь),  
*Руслан Хестанов, Александр Бикбов*

**Научный совет**

*А. Л. Погорельский* (Москва), председатель  
*С. Н. Зимовец* (Москва), *Л. Г. Ионин* (Москва), *В. В. Калинин* (Вятка),  
*М. Маккинси* (Детройт), *Х. Мёкель* (Берлин), *В. И. Молчанов* (Москва),  
*Н. В. Мотрошилова* (Москва), *Н. С. Плотников* (Бохум), *Фр. Роди* (Бохум),  
*А. М. Руткевич* (Москва), *А. Ф. Филиппов* (Москва), *К. Хельд* (Вупперталь)

Художник *Валерий Коршунов*  
Изготовление оригинал-макета *Сергей Зиновьев*

**Внимание!**

Подписка на 1-е полугодие 2007 года осуществляется по каталогу  
Агентства «Роспечать», подписной индекс 18062  
Подписка по России в любом отделении связи

Е-mail редакции: [logos@orc.ru](mailto:logos@orc.ru)  
<http://www.ruthenia.ru/logos>

В оформлении обложки использован  
фрагмент фрески Диего Риверы

Отпечатано с готового оригинал-макета в ППП «Типография «Наука»  
121099, Москва, Шубинский пер., 6  
Заказ №

# Содержание

<i>Иммануил Валлерстайн. Существует ли в действительности Индия?</i> . . . . .	3
<i>Иммануил Валлерстайн. Капитализм: противник рынка?</i> . . . . .	9
<i>Томас Маккарти. Либеральный империализм и дилемма развития</i> . . . . .	14
<i>Стивен Пинкер. Завязывайте с метафорами!</i> . . . . .	39
<i>Джордж Лакофф. Когда когнитивная наука приходит в политику: Ответ на рецензию Стивена Пинкера</i> . . . . .	50

## РЕВОЛЮЦИЯ

<i>Джек Голдстоун. К теории революции четвертого поколения</i> . . . . .	58
<i>Александр Филиппов. Триггеры абсолютных событий</i> . . . . .	104
<i>Руслан Хестанов. Восстание сирот</i> . . . . .	118
<i>Михаил Одесский. Идеологема «революция» и возможность социальных потрясений в современной России</i> . . . . .	131
<i>Ольга Эдельман. Профессия – революционер</i> . . . . .	137
<i>Георгий Дерлугьян. Кризисы неовотчинного правления</i> . . . . .	154

ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН

## Существует ли в действительности Индия?<sup>1</sup>

**М**ой вопрос о том, «существует ли в действительности Индия» выглядит на первый взгляд абсурдным. В современном мире есть политическое образование, которое называется Индия, следовательно, Индия, безусловно, существует. Но он не будет абсурдным, если мы поставим его онтологически, аналогично античной теологической постановки вопроса о том, «существует ли в действительности Бог»? Если Индия в действительности существует, откуда мы знаем об этом?

Давайте начнем с обратного предположения. Давайте на секунду вообразим, что произошло, если бы в период 1750–1850 гг. англичане колонизировали преимущественно территорию старой Империи Великих Моголов, назвав ее Хиндустаном, а французы одновременно заняли бы южные (преимущественно населенные дравидами) регионы нынешней Республики Индия, дав им наименование Дравидия. Счита-ли бы мы сегодня после этого, что Мадрас являлся исконной «исторической» частью Индии? Использовали бы мы вообще это слово Индия? Я думаю, что нет. Вместо этого ученые со всего мира, вероятно, строчили бы пухлые тома, доказывающие, что с незапамятных времен Хиндустан и Дравидия были двумя принципиально различными культурами, народами, цивилизациями, нациями или как-то иначе отличались каким-нибудь другим образом. Конечно, в этом случае были бы какие-нибудь хиндустанские ирредентисты, которые время от времени выдвигали бы требования к Дравидии во имя создания «Индии», но

<sup>1</sup> Печатается с любезного разрешения автора по тексту: Wallerstein I. Does India Exist? // Wallerstein I. *Unthinking Social Science*. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 130–134. В основу статьи положено выступление на секции «Историческая социология Индии» на II Всемирном социологическом конгрессе 18–23 августа 1986 года (Нью-Дели, Индия). Данная работа вошла в итоговый сборник наиболее важных публикаций автора: Wallerstein I. *The Essential Wallerstein*. New York: The New Press, 2000. P. 310–314.

наиболее здравомыслящие люди называли бы их безответственными экстремистами.

Мой вопрос далее состоит в следующем. Каким образом то, что исторически произошло в период 1750–1850 гг. воздействует на то, что случилось, ну, скажем, в период между VI веком до н. э. и 1750 г., который рассматривается сейчас в качестве общепринятых рамок досовременного периода индийской истории? Это важно по той причине, что то, что случилось в отдаленном прошлом, всегда является следствием того, что произошло в недавнем прошлом. Настоящее определяет прошлое, но никак не наоборот, как пытаются убедить нас существующие логико-дедуктивные аналитические схемы.

Я бы хотел выдвинуть три тезиса. Хотя все они будут касаться Индии, в равной степени они будут правильными, если мы заменим ее, скажем, на Пакистан, Англию, Бразилию или Китай. То, что я хочу сказать об Индии, не является специфической особенностью исключительно ее истории, а является общим свойством почти всех ныне существующих суверенных государств, членов ООН.

Первый тезис состоит в том, что Индия является порождением современной мир-системы. Функционирование капиталистической мир-экономики предполагает существование некой политической надстройки из суверенных государств, связанных и узаконенных межгосударственной системой. Так как такой системы ранее не существовало, ее нужно было построить. Процесс же строительства был длительный сразу в нескольких отношениях. Такого рода система первоначально возникла только в одной части земного шара, в основном в Европе, где-то в период 1497–1648 гг. Далее она периодически расширялась, включая в себя все новые и новые географические зоны. Этот процесс, который мы можем назвать «инкорпорацией» новых зон в капиталистическую мир-экономику, включал в себя перестройку политических границ и структур включаемых зон и предполагал создание там «суверенных государств — полноправных членов межгосударственной системы», или, как минимум, образование колоний (потенциальных кандидатов на звание суверенного государства).

Этот процесс был длительным и в другом отношении. В течение последних 500 лет происходило последовательное упрочение самого каркаса межгосударственной системы. С одной стороны, были очерчены границы и четко определены ее полномочия. С другой стороны, было четко установлено, что есть «государственность» самих суверенных государств, определены и отточены их государственные полномочия. Следовательно, мы постепенно двигались в сторону все более «крепких» государств, сковываемых объятиями и все более «крепкой» межгосударственной системой.

В рамках такой оптики мы могли бы сказать, что Индия как единое «суверенное государство» отчасти было творением самих англичан в период 1750–1850, но не только их одних. Другие «великие держа-

вы» (такие как Франция) также внесли в это свой вклад, по крайней мере, в той степени, в какой они признавали ее международно-правовую реальность, и были не в состоянии изменить сложившиеся линии территориальных разделений. Но прежде всего в этот процесс создания «Индии» было вовлечено население Индийского субконтинента. Существовавшие там политические структуры, различные по своей военной и социальной мощи, тем или иным образом сопротивлялись или содействовали этому процессу. Англичане начинали не с «чистого листа», а вели борьбу с уже существовавшими там реальными социально-политическими структурами. Действительная история является комплексным процессом, и ее конкретный итог возникает в качестве следствия такого процесса во всем его сложном своеобразии. Это означает, например, что итоговая конфигурация территориальных размежеваний ничуть не является предопределенной, и все, что могло возникнуть в итоге, могло бы стать тем политическим образованием, которое мы знаем сейчас в качестве Индии. Был бы, например, Непал включен в тот период в состав такой «Индии», мы бы говорили о непальском народе / нации / культуре не больше, чем мы говорим сегодня о хайдарабадском народе / нации / культуре.

Как мы хорошо знаем, когда в 1948 г. Индия стала полностью суверенным государством, территория первоначальной колонии была разделена на две части, и так возник Пакистан. Впоследствии Пакистан также был разделен, после чего возник Бангладеш. Все это никоим образом нельзя было предсказать в 1750–1850 гг. *A fortiori*, эти процессы не были предопределены историческим развитием до 1750 года. Относительная новизна этих разделений до сих пор побуждает некоторых утверждать об их «нелегитимности». Однако легитимность является следствием, среди прочего, существующей длительности данного состояния вещей. По мере удаления во времени, истинность «прошлого» становится все более и более неоспоримой, пока ход событий однажды, внезапно и драматически, а, главное, успешно, не поставит ее под сомнение, что всегда рано или поздно происходит.

Мой второй тезис состоит в том, что досовременная индийская история является изобретением современной Индии. Я не говорю, что ее никогда в действительности не было. Я предполагаю, что, учитывая встроенные процедуры контроля, сложившиеся в мировой историографии, мы вряд ли обнаружим в наших учебниках какие либо утверждения, которые не были подкреплены убедительными доказательствами и фактами (*evidentiary basis*). Однако группировка этих утверждений в тот или иной интерпретативный нарратив не возникает сама по себе. Нельзя собрать «факты» и получить «историю» (“facts” do not add up to “history”). Историк создает историю таким же образом, как художник создает свою картину. Художник использует определенные краски из своей палитры и свое видение окружающего мира, чтобы представить свое «послание», и так же поступает историк. Точно так же, как

и художник, он имеет определенную свободу действий, которая, однако, не является полной, а обладает своими социальными ограничениями. Нарратив, который просто отражает причудливую психопатологию индивидуального автора, просто не будут читать и, что еще более важно, его не будут учить, в него нельзя поверить или вообще каким-либо образом использовать.

Нарративное изложение прошлых событий, которое создает историк, «интерпретирует» эти события в терминах долговременных непрерывных последовательностей или среднесрочных «конъюнктурно» (циклически) изменяющихся моделей. Мы, следовательно, говорим о том, что нечто, что мы называем Индией, имеет «культуру» или является продуктом культуры. Что это означает? Это означает, что Индия имеет или отражает определенное мировоззрение (или определенную комбинацию мировоззрений), обладает особым художественным стилем, является частью некоего языкового ареала, местом возникновения определенных религиозных движений и т. д.

Но что в свою очередь означают эти утверждения? Они ведь отнюдь не подразумевают (и никогда не собирались подразумевать), что каждый отдельный житель этой географической территории сейчас и с незапамятных времен разделяет эти культурные черты. Скорее, они пытаются отразить некоторые статистические параметры какого-то, обычно не уточняемого, периода времени. Но что это за параметр: усредненное значение, медианный показатель или просто наиболее вероятная характеристика? Поставив вопрос подобным образом, мы вызовем только усмешки. Однако такая постановка вопроса является свидетельством произвольности всех наших утверждений об индийской «культуре» (или чьей-либо «культуре» еще). Индийская культура есть то, что мы все коллективно утверждаем о ней. Но мы можем изменить наше мнение. Если через 50 лет мы определим индийскую историческую культуру иначе, чем мы определяем ее сегодня, это означает, что индийская культура фактически изменится и *в нашем прошлом*.

Так как мы пришли к открытию нынешней версии исторической культуры Индии? Широкими мазками ответ можно обрисовать таким образом. Европейцы вообще, и англичане в особенности, выдвинули те утверждения, в которые они сами верили или хотели верить. Индийцы, живя в своей «культуре», услышали эти утверждения, некоторые из них приняли, многие отвергнули, и в конечном итоге озвучили собственную альтернативную версию или даже несколько версий. Особо важное влияние на формирование этой версии, которая преобладала в период 1850–1950 годов, оказало индийское национально-освободительное движение. Сегодня уже правительство независимой Индии определяет то, какими должны быть школьные учебники, и в этом смысле оно заменило индийское национально-освободительное движение в качестве главного создателя (*shaper*) истории Индии. Индийские поэты, историки и социологи также пытаются участвовать в этом, и они, несомненно,

оказывают некоторое воздействие. Это воздействие, несомненно, оказывают миллионы людей из множества строго очерченных каст, когда они принимают решение переходить или не переходить в буддизм или ислам. Если достаточное количество их обратится, например, в буддизм, то тема последовательной непрерывной роли индийского буддизма будет опять неожиданно возникать в качестве общей интерпретативной нити индийской истории.

Мой третий тезис состоит в том, что хотя Индия и существует в настоящее время, никто не знает, будет ли она существовать через 200 лет в будущем. Возможно, Индия будет разделена на пять отдельных государств. Возможно, она опять включит в себя Пакистан и Бангладеш. Возможно, вся система суверенных государств, существующая в рамках нынешней межгосударственной системы, исчезнет. Любое из этих событий, если оно произойдет, трансформирует наше понимание прошлого. «Индия» может оказаться неким переходным или не очень важным понятием. Или оно может быть, наоборот, в значительной степени усилено в качестве обозначения устойчивой «цивилизации».

Не вызывает сомнения то, что, по крайней мере в нынешнее время, национализм вообще, и в особенности в Индии, является удивительно мощной культурной силой всемирного масштаба. Он выглядит сегодня сильнее, чем любой другой способ социального выражения или коллективной ментальности, хотя где-то в последние десять лет религиозное самосознание вновь проявило себя в качестве серьезного соперника национализму как движущей силы во многих частях земного шара. Однако национализм, с исторической точки зрения, является достаточно недавним понятием. В этом смысле он является продуктом современной мир-системы, причем достаточно поздним продуктом. Было бы очень трудно доказать, что национализм существовал до XIX столетия. Возможно, в XXI столетии он исчерпает себя, но это трудно предсказать с той или иной степенью уверенности. Это должно заставить нас быть осторожными как минимум в постулировании наличия общих продолжительных во времени характеристик «индийскости» как некоей реальной социальной действительности.

Позвольте мне задать один последний вопрос. Как я уже сказал в начале, все, что я говорил об Индии с равным успехом может быть применено и к Пакистану, Англии, Бразилии или Китаю. Получается, что в Индии нет никакого своеобразия и ее случай не отличается никакой спецификой? Конечно, это отличие существует. Индия как конкретное образование отличается во множестве очень важных отношений от любого другого государства, нации, народа или цивилизации. Реальный социальный мир является сложным образованием, состоящим из чрезвычайно сложных групп и индивидов. Все является специфическим.

Однако мы можем подходить к этой специфике двояким образом. Или мы отступаем перед ней, и мир в этом случае предстает перед нами

как некий разноцветный и разноголосый беспорядок, или мы пытаемся объяснить ее. И в этом смысле специфика не возникает перед нами ниоткуда, Индия (т. е. Индия, которую мы наблюдаем сегодня) не просто существует «как есть» перед нами. Она является продуктом долгого исторического процесса, который имеет общие черты с другими сравнимыми случаями лишь на некоторых своих ключевых базовых уровнях.

Я здесь присутствую не для того, чтобы отрицать каким-либо образом историческую специфику Индии. Более того, полной целью социологического анализа, как я его вижу, является выход на конечный уровень исторической интерпретации конкретного. Скорее, моей целью является показать, что то, что включается в описание исторической специфики Индии, само является постоянно меняющимся, подвижным и текучим феноменом. Исторический фундамент, на котором мы все стоим, стабилен в той же степени, как оболочка земной коры над глубоким разломом. Возможность того или иного землетрясения нависает над нами как вездесущая повседневная угроза. Следовательно, Индия [пока] существует, по крайней мере в тот момент, когда я пишу этот текст.

*Перевод с английского Александра Фисуна*



ИММАНУИЛ ВАЛЛЕРСТАЙН

## Капитализм: противник рынка?<sup>1</sup>

Не далее как еще сорок лет назад роль рынка при капитализме трактовалась достаточно однозначно. Рынок рассматривался в качестве определяющей черты капитализма не только потому, что был ключевым элементом его функционирования, но и потому, что четко отделял капитализм от двух противоположностей, которым он часто противопоставлялся: с одной стороны, от феодализма, который предшествовал ему, а с другой — от социализма, который, как ожидалось, должен был его сменить. Как правило, это подразумевало, что феодализм был дорыночной системой, а социализм — пострыночной.

Сегодня больше нельзя использовать данное разделение в качестве основания теоретического анализа. И отнюдь не потому, что данная схема упрощает реальность, а, скорее, потому, что она ошибочна вся в целом, по крайней мере, в силу трех причин.

Прежде всего, значительно продвинувшиеся после 1945 г. исследования феодального общества четко показали, что последнее больше нельзя рассматривать в качестве закрытой системы, основывающейся на элементарных формах сельскохозяйственного производства в рамках так называемого натурального хозяйства. В действительности, рынки существовали везде, и они были глубоко укоренены в логике функционирования этой исторической системы. Конечно, при этом существовало множество отличий с капиталистической системой. Коммодификация была ограниченной, рынки были исключительно местными или были связаны с торговлей на дальние расстояния, но они редко являлись «региональными». При этом торговля на дальние расстояния ограничивалась прежде всего предметами роскоши. Тем не менее контраст с тем, что возник-

<sup>1</sup> Печатается с любезного разрешения автора по тексту: Wallerstein I. Capitalism: The Enemy of the Market? // Wallerstein I. *Unthinking Social Science*. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 202–206. Первоначально опубликовано в качестве статьи: Wallerstein I. Braudel on Capitalism and the Market. *Monthly Review*. 1986. Vol. 37. No. 9. P. 11–16.

нет позже при капитализме, станет менее четким, если мы рассмотрим действительность феодального общества более пристальным взглядом.

Таким же образом реально существующий социализм демонстрирует явную тенденцию к развитию рынка, что происходит двумя способами. Прежде всего, теоретики все более и более согласны в том, что так называемые социалистические / коммунистические страны вряд ли полностью и окончательно исключены из существующего мирового рынка. Во-вторых, на национальном уровне, практически все государства социалистического лагеря стали ареной длительных внутренних дискуссий о достоинствах определенной либерализации внутреннего рынка. В наши дни даже появилось новое понятие — «рыночный социализм».

Итак, реальная действительность и феодализма, и социализма вступает в явное противоречие со старой теоретической схемой. Более важным является, однако, то, что реальная действительность капитализма еще больше противоречит ей. И здесь работы Фернана Броделя имеют для понимания этого ключевое значение. Центральным моментом его последней трилогии является выделение трех уровней капиталистической действительности, в котором слово «рынок» используется только для обозначения лишь одного, среднего уровня, ниже которого находятся «структуры повседневности», а выше — собственно «капитализм». В особенности Бродель намеревается переформулировать привычное взаимоотношение между рынком и монополиями. Обычно мы считаем, что конкуренция и монополия являются двумя противоположными полюсами капиталистического рынка, которые некоторым образом чередуются между собой. Бродель же видит их скорее в качестве двух устройств, которые находятся в непрерывной борьбе друг с другом, при этом он хочет использовать понятие «капитализма» только для наименования такого рода монополий.

Действуя так, Бродель переворачивает верх дном все наши привычные теоретические подходы. Вместо того чтобы рассматривать в качестве ключевого элемента исторического капитализма свободный рынок, он выдвигает в качестве такового установление монополий. Существование господствующих на рынке монополий — вот что является определяющим элементом нашей системы, и это то, что достаточно четко отличает капитализм от феодального общества, а также, возможно, и от мировой системы социализма, на что до сих пор редко обращают внимание.

Адам Смит и Карл Маркс оба согласны между собой в некоторых вещах, прежде всего в том, что конкуренция для капитализма является нормой, при этом нормой как идеологической, так и статистической. Соответственно, по их мнению, монополия является исключением, а не правилом, ибо, в соответствии с этим объяснением, она вызывает ответное сопротивление. Такая идеология пустила глубокие корни во взглядах людей, не только широкой публики, но и обществоведов.

Однако, со статистической точки зрения, монополия не является редким явлением. Скорее наоборот, примеры их окружают нас со всех сторон, однако надо прочитать указанную выше трилогию Броделя, чтобы

увидеть, как далеко все это уходит в прошлое. Монополии не только почти всегда существовали при капитализме, но они также и почти везде играли крайне важную роль. Поэтому те, кто контролировал эти монополии, всегда выступали и в качестве самых крупных и мощных аккумуляторов капитала. Фактически не будет преувеличением сказать, что способность к накоплению большого количества капитала зависит от способности к установлению монополий.

Мне кажется, что мы можем вынести три главных урока от прочтения этой броделевской трилогии. Все они выступают против бесчисленного сонма общепринятых истин и, как минимум, подрывают несколько распространенных теорий. Давайте начнем со знаменитого утверждения о том, как буржуазия или капиталисты последовательно превращаются соответственно в купцов, промышленников и финансистов. Как много чернил было потрачено и все еще тратится, чтобы показать, какой из видов капитала был доминирующим в тот или иной период времени или точке пространства? Сколько развелось теорий, пытающихся продемонстрировать что-то типа естественной прогрессии от доминирования торгового капитала к доминированию капитала промышленного, а потом финансового? Сколько путаницы было внесено при обсуждении вопроса о роли и собственно существовании аграрного капитализма?

Однако это есть псевдопроблема. Бродель очень четко показывает, что крупные капиталисты всегда стремились объять все — торговлю, производство, финансы. И только играя во всех этих трех сферах, они могли быть способны надеяться на достижение монополистических преимуществ. Только второразрядные предприниматели специализировались на чем-то одном, они были или чистыми купцами, или чистыми промышленниками.

Таким образом, ключевое различие между капиталистами пролегает не между торговцами, промышленниками и финансистами, а между теми, кто не имеет никакой определенной специализации, и теми, кто ее имеет. И это различие очень сильно коррелирует с противоположностью большого и малого, транснационального и локально-национального, монопольного сектора и сектора конкурентного, то есть между тем, что Бродель обозначает в качестве «капитализма», и тем, что он называет «рынком».

Как только мы примем такое направление анализа, сразу несколько других квазипроблем рассеиваются одна за другой: когда капитал интернационализировался (монополии всегда имели международный характер); или как объяснить неоднократные «измены» буржуазии (перетекание капитала между сферами является неотъемлемой чертой логики монополистического поведения в условиях постоянных конъюнктурных изменений). Объяснение так называемой промышленной революции в Англии в конце XVIII столетия теперь становится совершенно иным вопросом: как и почему в этот период времени образовалась возможность получения такого достаточного объема монополистической прибыли в текстильном производстве, чтобы привлечь крупный капитал?

Второй урок в меньшей степени является непосредственно броделевским. Тем не менее его работы позволяют нам лучше вооружиться для отстаивания той безусловной истины, что все монополии имеют под собой политическую основу. Никто никогда не может достигнуть господства в экономике, подавлять ее и сдерживать, ограничивая действие рыночных сил, не имея политической поддержки. Это всегда требует силы, применение некоторой политической власти, создания неэкономических барьеров для входа на рынок, установления жутких цен, получение гарантий того, что люди купят то, что им не особенно нужно. Утверждение, что кто-то может быть капиталистом (в броделевском смысле слова) без поддержки государства, не говоря уже при оппозиции к нему, является полностью абсурдным. Я говорю «без поддержки государства», но, конечно, под этим не обязательно имеется в виду собственное государство данных капиталистов. Иногда это может быть и совершенно другое государство.

Но если это действительно так, то изменяется сам смысл право-левого противостояния в современном мире. Это не есть и никогда не было борьбой за обоснование государственного вмешательства в экономику, ибо государство является одним из неотъемлемых элементов функционирования капиталистической системы. Смысл этого противостояния состоит скорее в том, кто будет прямым и непосредственным бенефициаром такого государственного вмешательства. Все это помогает нам прояснить смысл многих наших политических дебатов.

В конечном счете Бродель позволяет нам быть слегка сдержанными в выказывании энтузиазма по поводу новых технологий, которые, безусловно, рассматриваются в качестве «прогресса» большинством приверженцев Смита и Маркса. Каждый крупный технологический прорыв дает новую жизнь монополистическому сектору. И каждый раз конкурентный рынок вновь обретает почву под ногами в своей борьбе с монополистическим сектором: это может произойти через увеличение количества экономических акторов, в силу сокращения издержек производства, а следовательно, цен и прибыли. Кто-то еще (но кто этот «кто-то»?) попытается совершить новый крупный технологический скачок вперед, направив капиталистическую мир-экономику обратно в фазу расширения, что, в свою очередь, опять обогащает крупных капиталистов, ибо они в который раз получают закрытый и крайне прибыльный сектор, который будет оставаться таковым как минимум в течение следующих 30 лет.

Я намечил достоинства броделевского анализа взаимоотношения капитализма и рынка. Однако я должен высказать и большие опасения в связи с тем, как могут быть использованы эти аргументы. Тут очень просто совершить незаметный скачок к новому варианту романтизации свободного «маленького человека», который противопоставляется мерзкому и подлому «большому человеку», душащему вашу свободу. От этого остается только один шаг до неопужадистского взгляда на мир.

Для того чтобы спасти нас от такого неудачного вывода, чтобы спасти Броделя, позвольте мне сказать несколько слов о великом лозунге

Французской революции «свобода, равенство, братство». Эти понятия всегда рассматривались как три различные вещи. Почти 200 лет мы спорим о том, насколько совместимы они друг с другом. Возможна ли свобода в условиях равенства? Является ли свобода препятствием для достижения равенства? Не ведут ли свобода и равенство в противоположную сторону от братства? И такие вопросы можно продолжить.

Возможно, мы должны пересмотреть взаимосвязь этих трех понятий в свете броделевского анализа. Если «рынок» как пространство «маленького человека», территория свободы, находится в непрерывной борьбе с «монополиями», пространством «больших и сильных», территориями узурпации, и если монополии существуют только благодаря некоторым типам государственного действия, следует ли из этого, что борьба против различных неравенств — экономических, политических, культурных — является, в сущности, одной и той же борьбой? Монополии доминируют благодаря тому, что они ликвидируют свободу и равенство в экономической сфере, почти всегда в политической сфере и весьма часто в культурной (хотя последний момент мы здесь не обсуждаем). Выступать в пользу броделевского «рынка» означает для меня в конечном счете выступать за большее равенство в нашем мире. То есть это борьба за человеческую свободу, в конечном счете это стремление и к братству, ибо логика такой борьбы не допускает существование «низших» (subhumans). И это подводит нас к последнему переворачиванию нашей теоретической перспективы. Вполне может быть, что триумф рынка (в броделевском смысле) больше не будет признаком капиталистической системы, а окажется предзнаменованием мирового социализма. Вот это сногшибательный кульбит!

Понятно, что сейчас мы перешли от обсуждения исторического прошлого к будущему, которое всегда трудно предугадать. И это последний урок, который мы можем почерпнуть из Броделя. Нам будет отнюдь не просто прийти к победе броделевского рынка. Бродель оставляет для нас единственную надежду — этот рынок, или, точнее, те люди, из которых он состоит, никогда не смиряются со своим поражением. Каждый день снова и снова они поднимаются на тяжелую борьбу ради того, чтобы обуздать узурпаторов, подорвать их экономическую мощь и расшатать их важнейшие политические структуры.

*Перевод с английского Александра Фисуна*

ТОМАС МАККАРТИ

## Либеральный империализм и дилемма развития

Исторически дилемма, возникавшая в либеральной теории при столкновении с нелиберальными культурами, была связана не столько с противоречием между терпимостью и другими либеральными ценностями, занимающими важное место в современных дискуссиях, сколько с противоречием между нормами равного отношения и теориями социокультурного развития. И для понимания отношения Европы к остальному миру последнее имеет куда большее значение, чем первое. Со времен заселения обеих Америк и формирования Ост-Индской и Королевской африканской компаний до современного неоимпериализма европейское (а позднее американское) господство над неевропейцами постоянно оправдывалось концепциями развития, просвещения, цивилизации и прогресса, которые использовались для ослабления когнитивного диссонанса между либеральным универсализмом и либеральным империализмом. Кроме того, как мы теперь все больше узнаем благодаря постколониальным исследованиям, многие теоретики классического либерализма сами были вовлечены в решение колониальных вопросов и выстраивали свои политические философии с прицелом на них.

Ниже, после рассмотрения нескольких разрозненных примеров этой вовлеченности (I), я вкратце изложу систематическую формулировку дилеммы развития у Канта (II). Затем в III разделе будет рассмотрена форма, которую эта дилемма приняла в детрансцендентализированной атмосфере миллевского утилитаризма и которая с тех пор оставалась почти неизменной. В IV и V разделах описываются различные способы разрешения дилеммы и делается вывод, что она не может быть полностью упразднена, но может быть ослаблена настолько, что нам удастся прийти к согласию. В VI разделе приводятся некоторые необходимые для этого условия.

## I

Джон Локк, один из первых акционеров Королевской африканской компании, созданной королевским декретом в 1672 г., немногим ранее (1669) стал соавтором «фундаментальной конституции» Каролины, юридически признававшей негритянское рабство, а позднее (1682) принял участие в ее переработке, оставив неизменной статью о рабстве<sup>1</sup>. Помимо службы советником лордов-собственников Каролины (1669–1675), он также был секретарем и казначеем Английского совета по торговле и иностранным плантациям (1673–1674) и секретарем Английского совета по торговле (1696–1700). Порабощение африканцев и конфискации земель коренных американцев обосновывались у него нарративом развития от естественного состояния к политическому обществу. В естественном состоянии, наподобие того, что наблюдалось в Африке и Северной Америке, каждый был хозяином своей собственной жизни, свободы и имущества; и для защиты своих интересов каждый мог обратиться к силе, закономерным итогом чего могло стать завоевание, порабощение или конфискация. Как известно, Локк объявил Америку «свободной землей», занимаемой только кочевыми дикарями, которые отвергли заповедь Господа о возделывании земли и закон Природы, присуждавший собственность тем, кто в состоянии был с умом распорядиться ею — поэтому земля была морально и юридически свободной для присвоения. «Бог отдал мир всем людям сообща; но... Он дал его для того, чтобы им пользовались прилежные и рассудительные (и труд давал им право на это)».<sup>2</sup> Это противопоставление праздного и иррационального «дикого индейца», кочующего по «невозделанным просторам» Америки, и трудолюбивого, рационального и цивилизованного фермера, пользующегося щедротами природы, постоянно повторяется в локковском описании Америки и ее жителей во «Втором трактате» и согласуется с его представлением о последовательном развитии человеческих форм жизни от охоты и собирательства до оседлого земледелия, ибо «вначале весь мир был подобен Америке».<sup>3</sup>

С локковской вовлеченностью, детальным знанием и либеральной апологетикой атлантической империи Англии позднее смогло сравниться, если не превзойти, семейство Миллей, имевшее интересы в Ост-Индии.<sup>4</sup> Джеймс Милль, пришедший в Ост-Индскую компанию

<sup>1</sup> Имеется обширная литература о связи локковского либерализма с английским колониализмом. См. напр.: Tully J. *An Approach to Political Philosophy: Locke in Contexts*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; Arneil B. *John Locke and America: The Defense of English Colonialism*. Oxford: Oxford University Press, 1996; Mehta U. S. *Liberalism and Empire*. Chicago: University of Chicago Press, 1999; Armitage D. *The Ideological Origins of the British Empire*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

<sup>2</sup> Локк Дж. *Сочинения*. Т. 3. М.: Мысль, 1988. С. 280.

<sup>3</sup> Там же. С. 290.

<sup>4</sup> См. об этом: Stokes E. *The English Utilitarians and India*. Oxford: Oxford University



в 1819 г., в 1830 г. стал ее главным ревизором и занимал эту должность до конца своей жизни, оказав значительное влияние на целое поколение колониальных чиновников, включая его сына. Обязанный своими представлениями о развитии утилитаризму Бентама и шотландскому просвещению, он сохранил лишь поверхностные следы их критики колониализма. Правление Англии в Индии, как они утверждали, противоречило ее собственным интересам; но, по его мнению, оно вполне отвечало интересам местного населения: «Если мы и хотим продления английского правления в Англии, то только ради коренных жителей, а не Англии... Даже самые крайние случаи злоупотребления европейской властью, на наш взгляд, лучше самых умеренных проявлений восточного деспотизма».<sup>5</sup> Это вполне согласовывалось с миллевским описанием индийского общества как варварского, а индусов как неспособных к самоуправлению, которое было насквозь пронизано схемой развития, переносившей стадиальную теорию шотландского просвещения в плоскость полезности и сводившей множество различных стадий развития к бинарной оппозиции варварства и цивилизации. Введение британского правления в отсталой Индии оправдывалось необходимостью оказания помощи — посредством колониальной администрации — в переходе от социального детства к социальной зрелости.

Сын Джеймса Джон Стюарт, также проработавший в Ост-Индской компании большую часть своей сознательной жизни и дослужившийся до должности главного ревизора, впоследствии включил идею прогрессивного колониального правления в свое классическое изложение либеральных ценностей — отсюда неожиданное замечание во вводной главе трактата «О свободе», что его принципы применимы только к «человеку, который находится в полном обладании своих способностей» и что они неприменимы к «обществам, находящимся в таком состоянии, которое справедливо может быть названо состоянием младенческим».<sup>6</sup> Более того, «деспотизм может быть оправдан, когда идет дело о народах варварских и когда при этом его действия имеют целью прогресс и на самом деле приводят к прогрессу».<sup>7</sup>

Подробнее взгляды Джона Стюарта Милля по этим вопросам будут рассмотрены ниже в разделе III. Здесь же важно отметить, что, хотя использование схем развития для оправдания использования нелиберальных методов в отношении незападных обществ и характерно для классической либеральной теории, оно присутствует не во всех течени-

Press, 1959; Zastoupil L. John Stuart Mill and India. Stanford (CA): Stanford University Press, 1994; Mehta U. S. Liberalism and Empire; Pitts J. A Turn to Empire: The Rise of Imperial Liberalism in Britain and France. Princeton: Princeton University Press, 2005.

<sup>5</sup> Цит. по: Pitts J. A Turn to Empire. P. 125.

<sup>6</sup> Милль Дж. Ст. О свободе // О свободе: Антология мировой либеральной мысли. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 298.

<sup>7</sup> Там же.



ях либеральной мысли (или, если и присутствует, то не является для них самым важным). Существуют и другие течения, отличающиеся весьма неоднозначным отношением к колониализму и даже его прямым отрицанием.<sup>8</sup> Принимая во внимание такое многообразие взглядов на европейский экспансионизм, утверждение, что империализм является неотъемлемой составляющей либерализма *как такового*, кажется мне большим упрощением, особенно если вспомнить, что в своей критике колониализма либералы обычно обращались к либеральным ценностям. С другой стороны, нельзя отрицать, что основное направление либеральной мысли — от Локка до Милля и современного неолиберализма — было тесно связано с европейско-американским империализмом и что идеи социокультурного развития занимали в нем центральное место. Последние были довольно гибкими и потому могли прекрасно использоваться для оправдания различных нарушений всеобщих прав, которых требовали колониальное господство и эксплуатация. Кроме того, «научный» статус теорий развития придавал натуралистическую ауру социально сконструированным иерархиям, избегая тем самым моральных оценок и политической критики. В этом и других отношениях преломление либерализма в призме теории развития делало риторически возможным сочетание принципов универсализма с практикой европоцентризма.

## II

Внутреннее противоречие между моральным универсализмом и иерархией развития было открыто признано и, возможно, получило наиболее систематическое выражение у Канта.<sup>9</sup> С *морально-правовой точки зрения* практического разума, Кант неоднократно осуждал современные ему формы европейского империализма и их соответствующие оправдания. В то же время, с *антропологически-исторической точки зрения* рефлексивного суждения, он утверждал, что человеческие отношения могли быть осмыслены только в терминах иерархии и развития. На мой взгляд, противоречие возникает в результате последовательного проведения обеих точек зрения во всех его работах, что является определяющей чертой кантовской картины мира. Он живет с противоречиями, так как верит, что иначе нельзя: с моральной точки зрения, фундаментальные принципы равного достоинства, признания и уважения приводят его к поддержке идеалов космополитического правления закона и глобального морального сообщества — Царство Божье на земле, — в котором каждый человек признает самоценность существования другого. Но с антрополо-

<sup>8</sup> См. напр.: Muthu S. *Enlightenment and Empire*. Princeton: Princeton University Press, 2003.

<sup>9</sup> Подробнее об этом см.: McCarthy Th. A. *On the Way to a World Republic? Kant on Race and Development // Politik, Moral und Religion: Gegensätze und Ergänzungen* / Ed. Lothar Waas. Duncker & Humblot Verlag, 2004. P. 223–242.

гической или исторической точки зрения, мы видим, что прошлое было войной всех против всех, исход которой был крайне несправедливым, и что, более того, такое крайне неприятное положение вещей глубоко укоренено в человеческой природе и природе человеческого общества. В то же время в ходе истории появилось противоядие против наших врожденных разрушительных и самоубийственных тенденций: развитие наших рациональных способностей вообще и правления закона в частности, особенно в современной европейской форме республиканского конституционного правления. Хотя оно все еще ограничивалось внутренними делами отдельных народов, а отношения с другими народами продолжали пребывать в гоббсовском естественном состоянии, свойственном той воинственной эпохе, единственным способом сдерживания вечного состояния войны, присущего человеку, было, по утверждению Канта, распространение правления закона на мир в целом. И наша морально-политическая задача в каждую историческую эпоху состоит в продолжении движения к этому космополитическому идеалу, насколько это позволяют исторические обстоятельства.

В своих лекциях по физической географии и антропологии, которые он читал с 1756 по 1796 г., Кант описывал различные культуры, повторяя распространенные предрассудки, содержащиеся в сочинениях путешественников того времени. Неевропейские народы в целом описывались как менее развитые и, в сущности, менее способные к саморазвитию, чем европейцы. Так, Кант считал, что развитие видов, культуры и цивилизации будет и дальше сосредоточено в Европе. В своей философии истории он пытался примирить асимметрию в развитии и властные отношения, которые она отражала, со своим морально-политическим универсализмом. Путь примирения был телеологическим: человеческая история могла быть прочитана как последовательное развитие человеческих способностей, культуры и цивилизации, ведущее постепенно к *космополитическому правому порядку*, при котором все люди равны перед законом, и к *глобальной моральной общности*, в которой все люди проявляют друг к другу взаимное уважение и признают самоценность существования друг друга. Носителем космополитического порядка была глобальная федерация республиканских конституционных государств, в которых отдельные нации ограничивали свои частные притязания на абсолютный суверенитет нормами права; а средством достижения мировой моральной общности была рационализация организованной религии, в которой исторические веры преодолевали свои сектантские притязания на единственный истинный путь к спасению и постепенно начинали осознавать себя чистой моральной верой. В обоих отношениях Европа опережала всех остальных. С одной стороны, она «вероятно, со временем станет законодательницей для всех других [частей света]»;<sup>10</sup> с другой — наилучшей иллюстрацией формы чис-

<sup>10</sup> Кант И. Сочинения. Т. 6. М.: Мысль, 1966. С. 22.

той рациональной религии, к которой должны развиваться все исторические веры, служила некая разновидность протестантского христианства конца XVIII в. И в обоих отношениях Европа задавала темп и служила образцом. Политико-правовой союз и этико-религиозное сообщество создавались не путем некоего диалектического или диалогического опосредования различий, а, прежде всего, путем глобального распространения европейского образца.

То, что я называю дилеммой развития, явственно присутствует в этой конструкции. Предлагаемый Кантом путь к «конечной цели» истории и «моральная судьба» человечества отмечены и даже предопределены неравномерностью развития различных народов. И — самое позднее — с начала эпохи Нового времени прогресс в неевропейских обществах, по-видимому, начал означать постепенное приспособление к европейской культуре и цивилизации. Совместима ли эта диффузионистская модель прогресса, возлагающая цивилизаторскую миссию на Запад, с будущим, в котором пассивные «получатели» развития могут быть на равных с его активными создателями? Проявления асимметрии и несправедливости, функциональные с антропологически-исторической точки зрения, представляются проблематичными с морально-правовой точки зрения. И это противоречие только подчеркивается попыткой Канта разрешить его путем диалектической теодицеи истории: «Средство, которым природа пользуется для того, чтобы осуществить развитие всех задатков людей, — это антагонизм их в обществе, поскольку он в конце концов становится причиной их законосообразного порядка». <sup>11</sup> «Недоброжелательная общительность», свойственная человеческой природе, служит основой для «развития природных задатков» человека. <sup>12</sup> Без наших «корыстолюбивых притязаний» и других «непривлекательных свойств необщительности» человеческие способности «навсегда остались бы скрытыми в зародыше». <sup>13</sup> Как и многие другие авторы XVIII в., Кант рисует диалектику прогресса, в котором хорошее и плохое тесно переплетены в человеческом развитии. В его версии именно «скрытый план природы», то есть план Господа или божественное провидение, систематически превращает плохое в хорошее: «Поэтому да будет благословенна природа за неуживчивость, за завистливо соперничающее тщеславие, за ненасытную жажду обладать и господствовать!.. Человек хочет согласия, но природа лучше знает, что для его рода хорошо; и она хочет раздора... [Тем самым они] прекрасно обнаруживают устройство, созданное мудрым творцом». <sup>14</sup> В результате война, завоевания, притеснения, неравенство, эксплуатация и прочие дурные проявления человеческой природы, заслужи-

<sup>11</sup> Там же. С. 11.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Там же. С. 12.

<sup>14</sup> Там же.

вающие морального осуждения, могут служить важными стимулами для развития и распространения культуры и цивилизации. В более общей схеме вещей «это бедствие, прикрытое внешним блеском, связано с развитием природных задатков в человеческом роде; цель самой природы при этом достигается, хотя она и не наша цель».<sup>15</sup>

Суть здесь — и об этом Кант никогда не говорит напрямую — состоит в том, что целью природы в истории является не человеческое счастье, а человеческое развитие — идея развития видов служит основой для суждения с антропологически-исторической точки зрения: «Без этих самих по себе непривлекательных свойств общительности... все таланты в условиях жизни аркадских пастухов, [т. е.] в условиях полного единодушия, умеренности и взаимной любви, навсегда остались бы скрытыми в зародыше; люди, столь же кроткие, как овцы, которых они пасут, вряд ли сделали бы свое существование более достойным, чем существование домашних животных».<sup>16</sup> Соответственно, хотя Кант резко осуждает современные формы европейского заселения и колонизации на основании морали и права, он не может не опираться на них в целях развития как на средства распространения европейской культуры и цивилизации, закона и религии во всем мире.

Как мы увидим, эта дилемма развития может принимать различные формы, но не может быть устранена из либеральной картины мира. Она не оставляет либерализм даже тогда, когда конечной целью объ- является благосостояние; когда телеология природы и теодицея истории перестают представлять теоретический интерес; и когда история и антропология оказываются формами эмпирического исследования. И это становится очевидно при более внимательном рассмотрении мысли Джона Стюарта Милля.<sup>17</sup>

### III

В конечном итоге Кант имел дело с противоречием между универсальностью закона и морали, с одной стороны, и неравномерностью социокультурного развития — с другой, обращаясь к «рациональной» вере и возлагая надежды на божественное провидение. На фоне исторической эсхатологии он мог более или менее последовательно осуждать современные формы европейского империализма, обращаясь к мораль-

<sup>15</sup> Кант И. Сочинения. Т. 5. М.: Мысль, 1964. С. 465.

<sup>16</sup> Кант И. Сочинения. Т. 6. С. 12.

<sup>17</sup> Я буду ссылаться в основном на работы Милля, написанные вскоре после смерти его жены Гарриет Тейлор и его ухода из Ост-Индской компании: Милль Дж. Ст. О свободе (ОС); Размышления о представительном правлении. СПб., 1863 (РПП); A Few Words on Non-Intervention (NI: 1859) // Essays on Politics and Culture / Ed. G. Himmelfarb. Garden City, NY: Doubleday, 1962. P. 396–413; Civilization (C: 1836; rev. Ed. 1859) // Essays on Politics and Culture. P. 51–84. Ссылки приводятся в тексте в виде аббревиатуры названия и номера страницы.

ным и правовым принципам автономии и равного уважения, одновременно открыто заявляя о нацеленности на развитие рациональных способностей членов различных культур. Он не сталкивался с нормативным выбором между имперским правлением более развитых обществ над менее развитыми и самоуправлением неразвитых обществ, обреченных на постоянное неравенство и подчинение, потому что он мог разумно верить и надеяться, что скрытая рука Господа/Природы-в-истории вела людей к «конечной цели» космополитического политико-правового порядка, мировой федерации национальных республик. Там, где подобная прогрессивная эсхатология истории утрачивала свою убедительность, кантовский способ ослабления противоречия между либеральным универсализмом и либеральным империализмом переставал казаться наиболее предпочтительным. Так, более натуралистическое решение дилеммы, предлагаемое Джоном Стюартом Миллем в контексте британского империализма, было более типичным для оправдания колониализма в прогрессивной либеральной мысли вплоть до деколонизации, начавшейся после Второй мировой войны.<sup>18</sup>

Милль не обращался к божественному провидению или к телеологии природы и истории; он поставил в центр моральной и политической теории общее благосостояние. В то же время он превратил низменные мотивы имперского завоевания и эксплуатации в возвышенные мотивы цивилизаторской миссии и мягкого патернализма, которые шли на пользу тем, к кому они применялись, независимо от того, признавали они это или нет. *Большая сила* европейских обществ, которая сделала империю реальной возможностью, сочеталась с их предполагаемым *превосходством* при обосновании имперского правления: этот силовой патернализм, несмотря на свой очевидный деспотизм, был в то же самое время прогрессивным и превосходил все местные формы самоуправления, встречавшиеся в менее развитых обществах, которые, несмотря на свой неменьший деспотизм, были, безусловно, менее прогрессивными. По словам Милля, если в обществе

не существует зародыша самопроизвольной деятельности, то его единственная надежда на возможность дальнейшего развития заключается в шансе дожидаться когда-нибудь доброго и просвещенного деспота. При деспотизме родном добрый деспот есть явление редкое и преходящее; но если народ находится под властью другого народа, более цивилизованного, то последний должен быть состоятелен настолько, чтобы поставлять их беспрерывно. (РПП, 249)

Каким образом он приходит к такому представлению? Есть несколько путей, но главный связан с его пониманием основного нормативного критерия полезности: «я не пользуюсь для моей аргументации теми

<sup>18</sup> Подробнее об этом общем переходе от этических к социологическим концепциям имперской легитимности в последние десятилетия XIX в. см.: Mantena K. *Alibis of Empire*. Princeton: Princeton University Press, forthcoming.

доводами, которые мог бы заимствовать из идеи абстрактного права, предполагающей право совершенно независимым от пользы. Я признаю пользу верховным судьей для разрешения всех этических вопросов, т. е. пользу в обширном смысле, ту пользу, которая имеет своим основанием постоянные интересы, присущие человеку, как существу прогрессивному» (ОС, 298). Внутренняя связь между полезностью и прогрессом разъясняется в той же статье при помощи противопоставления свободы обычаю. Милль прослеживает связи, соединяющие, с одной стороны, свободу с независимостью, индивидуальностью, разумом, прогрессом и т. п., а с другой — обычай с несвободой, косностью и т. п. В результате, полноценное развитие способностей индивида и видов требует индивидуальной свободы, а главным врагом развития оказывается следование обычаю, которое не способствует развитию этих способностей. В цивилизованных обществах, где существует простор для свободы, каждый индивид становится «независимым центром улучшения», а в нецивилизованных — диких или варварских — обществах, где правят обычаи, человеческая жизнь приходит в состояние застоя или вырождения. Здесь также определенная разновидность перфекционизма становится основой для исторического суждения:

Деспотизм обычая повсюду составляет препятствие к человеческому развитию, находясь в непрерывном антагонизме с той склонностью человека стремиться к достижению чего-нибудь лучшего, чем обычай, которая, смотря по обстоятельствам, называется то духом свободы, то духом прогресса или улучшения... В борьбе между этим принципом и обычаем и заключается главный интерес истории человечества. Большая часть мира, собственно говоря, не имеет истории именно потому, что там безгранично царствует обычай. Такова судьба всего Востока (ОС, 355).

С этой характеристикой неевропейских образов жизни как простого множества форм деспотизма обычая, который препятствует развитию способностей и интересов человека как прогрессивного существа, мы очень близко подходим к оправданию колониального вмешательства и правления.

Но между этим и другими элементами аргументации Милля в трактате «О свободе» присутствует явное противоречие. Так как хотя саморазвитие и самоулучшение морально предписаны его идеей перфекционизма, последняя запрещает навязывание свободы другим ради их собственного блага: «Только такая свобода и заслуживает названия свободы, когда мы можем совершенно свободно стремиться к достижению того, что считаем для себя благом, и стремиться теми путями, какие признаем за лучшие, — с тем только ограничением, чтобы наши действия не лишали других людей их блага, или не препятствовали бы другим людям в их стремлениях к его достижению... Предоставляя каждому жить так, как он признает за лучшее, человечество вообще гораздо более выигрывает, чем принуждая каждого жить так, как признают

за лучшее другие» (ОС, 301). Но Милль поясняет, что этот принцип применим только к «человеку, который находится в полном обладании своих способностей» (ОС, 297). Он неприменим к детям и отсталым обществам, находящимся «в таком состоянии, которое справедливо может быть названо состоянием младенческим» (ОС, 298). Для последних прогресс оказывается настолько сложным, что «в этом случае достижение прогресса может оправдывать со стороны правителя такие действия, которые не согласны с требованиями свободы, потому что в противном случае всякий прогресс, может быть, был бы совершенно недостижим. Деспотизм может быть оправдан, когда идет дело о народах варварских и когда при этом его действия имеют целью прогресс и на самом деле приводят к прогрессу» (там же). Как он ясно дает понять в других работах того же периода, этот цивилизаторский деспотизм лучше всего может быть осуществлен уже цивилизованной нацией, которая не преследует корыстных внешнеполитических целей, наподобие Англии, а не местными правителями.<sup>19</sup>

Принцип невмешательства во внутренние дела других суверенных наций, лежащий в основе современного международного права, касается, по утверждению Милля, отношений лишь между цивилизованными странами и никак не связан с отношениями между ними и нецивилизованными или варварскими народами.<sup>20</sup> Дело в том, что существование таких правил предполагает взаимность, а варвары к ней неспособны. Более того,

для них полезнее будет, если они будут завоеваны и покорены чужеземцами... Никто не в праве требовать соблюдения священных обязательств, существующих у цивилизованных наций, применительно к тем, для кого национальность и независимость являются либо злом, либо в лучшем случае сомнительным благом... Всякий, кто объявляет правление варварскими народами нарушением закона народов, обнаруживает явное незнание с предметом... У варваров нет никаких прав *нации*; они сначала должны заслужить такое отношение к себе, став ею (NI, 406).

В британском правлении в Индии Милль не видел никакого нарушения «закона народов». Оно было в своей основе некорыстной, цивилизующей опекой, направленной на реформирование экономических, политических и образовательных институтов и позволяющей Индии, которая перед тем как прийти в состояние застоя, была способна к саморазвитию, вновь взять ответственность за свое улучшение.

Вообще нормативным стандартом для оценки правительства служат наилучшие для данного состояния общества институты, где «наилучшее» следует понимать как то, что «более всего ведет к прогрессу»

<sup>19</sup> См. его пылкое описание отсутствия корыстных мотивов в английской внешней политике в «Невмешательстве».

<sup>20</sup> См. об этом: Pitts J. Boundaries of Victorian International Law. Unpublished ms.



(РПП, 25). Поэтому соответствующие институты различаются в зависимости от «ступени развития» общества. Точнее, форма правления должна быть такой, чтобы она «благоприятствовала или, по крайней мере, не препятствовала переходу общества на следующую, высшую ступень его развития» (РПП, 33). Представительное правление — «совершеннейший из всех образов народного правления» — подходит только для обществ на более высоких ступенях развития (РПП, 49). Для обществ, стоящих на более низких ступенях развития, предпочтительны иные формы правления, «когда народ ради дальнейшего своего развития должен пройти предварительный урок или приобрести еще незнакомую привычку, и если при этом представительное правление может быть помехою» (РПП, 52). В некоторых случаях необходимо «управление колониями со стороны свободного государства», при условии, конечно, что правление будет осуществляться в интересах тех, кем правят: «этот способ управления так же законен, как и всякий другой, если он при известной степени цивилизации подвластного наиболее способствует его переходу в высшую степень развития» (РПП, 249). Такое правление «хорошего деспота» является «идеалом правления над варварскими или полуварварскими племенами» (там же). И поскольку колонизация в то время становилась «состоянием... общим для целого мира» (РПП, 250), именно этот идеал хорошего колониального деспотизма должен был определять отношение наиболее развитых европейских наций к остальному миру, для которого он был наилучшей формой правления, то есть наиболее благоприятным будущим.

Таким образом, идеалы прогрессивного либерализма, преломленные в призме теории развития, отклонились в империалистическом направлении. Теория развития самого Милля особенно слаба в сравнении с теми, что существовали ранее и появились позднее. Для начала, она одномерна: существует только одна ось развития, по которой каждое общество может быть оценено как более или менее развитое. Более того, оценке подлежат общества в целом; все аспекты общества — его искусство, религия, экономика и политика — отражают общий уровень его развития. И это холистская, одномерная оценка еще больше упрощается в результате отнесения всех различий к одной главной бинарной оппозиции: цивилизованное/варварское (или дикарское/грубое/нецивилизованное и т. д.). Хотя Милль иногда проводит различие между кочевыми и оседлыми обществами, между охотой и собирательством и великими цивилизациями древности, между туземными культурами Северной Америки и культурами Китая и Индии и т. д., все эти различия сводятся к одной единственной дихотомии, когда речь заходит о колониальных отношениях. Так, в своей статье «Цивилизация», написанной в 1836 г. и переизданной с незначительными изменениями в 1859 г., после перечисления всего многообразия отношений, позволяющих сравнивать общества между собой, Милль убеждает своих читателей, что, «хотя эти составляющие цивилизаций различны... они возникают вместе, посто-



янно сосуществуют и сопутствуют друг другу в своем росте. Везде, где вводится достаточное знание искусств жизни и достаточная безопасность собственности и личности, чтобы сделать возможным поступательный рост богатства и населения, общество становится прогрессивным во всех своих элементах, которые мы только что перечислили» (С, 53). И именно эта «прогрессивность во всех своих элементах» структурирует дихотомию между цивилизованными и нецивилизованными обществами. Здесь он шел по стопам своего отца, дававшего невысокую оценку цивилизации в Индии.<sup>21</sup> Хотя во многих отношениях она явно отличалась от «диких племен», в одном важном отношении Индия была схожа с ними: она была застойным обществом, неспособным к прогрессивному самоуправлению и могущим быть улучшенным только внешним руководством. И, конечно, в том, что касалось отношения Британии к своим колониям, это имело наибольшее значение. Можно предположить, что практически-политическая позиция колонизаторов делала более тонкие теоретические разграничения несущественными; и позиция колониального правления с самого начала определяла способ описания и оценки.

Милль не оставил четкого определения основного двигателя прогресса. Иногда он делал акцент на «материальном» развитии — отношениях собственности, торговле и производстве, разделении и комбинировании труда и т. д., а иногда на «культурном» развитии — «способностях и приобретениях разума», распространении знания, мнениях, обычаях и социальных практиках — и нередко на том и другом вместе. Но он ясно дал понять, что раса не была решающим фактором; и это отличало его от многих других сторонников развития конца XIX — начала XX в.<sup>22</sup> И хотя он не отрицал существования «естественных» различий между «различными человеческими расами», он считал эмпирические свидетельства того, что они определяли различия в развитии, слишком слабыми, особенно при сравнении с важностью для развития указанных выше материальных и культурных факторов.<sup>23</sup> Фактор, который он называл наиболее часто, — «национальный характер» — понимался им в культурном, а не расовом смысле. В этом отношении он предвосхитил аргументацию, которую приводили многие теоретики XX столетия. На самом деле со своим «постметафизическим» неприятием всякой теодицеи или телеологии истории, своим замещением законов природы

<sup>21</sup> Когда ему было всего 11 лет, Джон Стюарт занимался корректурой многотомной «Истории Британской Индии» (1817) своего отца.

<sup>22</sup> См.: McCarthy Th. A. *The Natural Order of Things: Social Darwinism and White Supremacy*. Готовится к печати в сборнике статей, посвященных Корнелу Уэсту под редакцией Эдди Глода.

<sup>23</sup> См. напр.: Mill J. S. *The Negro Question*. Published anonymously in in 1850, in response to an earlier article by Thomas Carlyle (reprinted in Fraser's Magazine for Town and Country *Little's Living Age*. Vol. XXIV. P. 465–469); о взглядах Милля на «расу» см.: Robson J. *Civilization and Culture as Moral Concepts // The Cambridge Companion to Mill / Ed. J. Skorupski*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 338–371.

и требований разума утилитарными соображениями, связанными с благосостоянием и прогрессом, и своей опорой на эмпирическую историю и гуманитарные науки, хотя и весьма сомнительной, Милль предвосхитил во многих отношениях подходы к развитию и модернизации, которые начали доминировать после Второй мировой войны.<sup>24</sup>

Тем не менее даже в десублимированной атмосфере посметафизического либерализма Милля дилемма развития никуда не исчезает. Она постоянно всплывает в противоречии между его основной либеральной ценностью автономии — «если только человек имеет хотя самую посредственную долю здравого смысла и опыта, то тот образ жизни, который он сам для себя выберет, и будет лучший, не потому чтобы быть лучше сам по себе, а потому, что он есть его собственный» (ОС, 352) — и патернализмом, содержащимся в его прочтении отношений Европы с неевропейскими народами, для которого правление более цивилизованных людей «так же законно, как и любое другое» и служит едва ли не единственным способом обеспечения «перехода к более высокой ступени развития» (РПП, 249). Противоречие еще больше усиливается, когда Милль утверждает, что сравнительная оценка различных образцов жизни производится не с точки зрения Бога, а только «на практике, когда оказываются люди, желающие их испытывать» (ОС, 342).<sup>25</sup> Или когда он осуждает преследователей мормонов, заявляя: «я не могу согласиться, чтобы какая-нибудь община имела право насильно заставлять другую общину цивилизоваться... Они могут, если хотят, послать миссионеров...» (ОС, 378). Или когда он утверждает, что «по всем принципам по морали и справедливости» Великобритания должна согласиться на отделение своих колоний: «придет время, когда эти колонии после полных испытаний над лучшей формой соединения сознательно пожелают отделиться» (РПП, 246). Но такие оговорки постоянно заслоняются перфекционистской озабоченностью тем, что неевропейскими обществами правит «деспотизм обычая», неизбежно противоречащий «свободному развитию индивидуальности», которая, в свою очередь, оказывается не только «одним из первенствующих существенных благ», но и «необходимой принадлежностью и условием» цивилизации, образования, воспитания и культуры (ОС, 342). Здесь приходится делать выбор, ибо «в борьбе между этим принципом и обычаем и заключается главный интерес истории человечества» (ОС, 355). И хотя противоречие между ними не может просто исчезнуть, Милль полагает, что оно может быть заметно ослаблено признанием того, что «управление посредством помочей» допустимо только в том случае, если оно дейст-

<sup>24</sup> Об этих подходах см.: McCarthy Th. A. From Modernism to Messianism: Liberal Developmentalism and American Exceptionalism // Constellations (готовится к печати).

<sup>25</sup> Тем не менее, хотя он и принимал участие в управлении Индией на протяжении большей части своей сознательной жизни, Милль так никогда и не побывал в этой части света.

вительно ставит перед собой целью «приучить народ к самостоятельному ходу» (РПП, 36).<sup>26</sup> То есть речь идет о нормативном идеале такого правительства, к которому, по мнению Милля, постепенно приближалось британское правление колониями, когда господствующий народ стремился способствовать развитию подчиненного народа. В результате такое устройство оказывалось временным: предполагалось, что как только незрелый народ станет способным к самоуправлению и саморазвитию, его можно будет считать равным членом сообщества цивилизованных наций, но не раньше.

#### IV

При всех его внутренних противоречиях этот идеал был настолько далек от реальных колониальных правлений, что критикам не нужно было прилагать больших усилий для его разоблачения. В двух статьях о британском правлении в Индии, написанных для *New York Daily Tribune* в 1853 г., то есть в то же время, когда Милль опубликовал свои размышления, рассмотренные нами ранее, Маркс прямо исходил из того, что Ост-Индская компания была «движима исключительно духом наживы».<sup>27</sup> Изменения, которые произошли в условиях жизни в Индии, во многом были следствием отношений эксплуатации. Поэтому, хотя они, как он полагал, и были необходимы для полного развития возможностей Индии, они вовсе не были мягкими. Англия разрушила всю структуру индийского общества для достижения своих собственных целей и тем самым нанесла ущерб традиционным институтам, организациям и сообществам и причинила большие страдания их членам. Тем не менее преследование Англией своих корыстных интересов привело к фундаментальному преобразованию индийской жизни, послужившему предпосылкой для дальнейшего прогресса и позволившему «заложить материальную основу западного общества в Азии».<sup>28</sup>

Вызывая социальную революцию в Индостане, Англия, правда, руководствовалась самыми низменными целями и проявила тупость в тех способах, при помощи которых она их добивалась. Но не в этом дело. Вопрос заключается в том, может ли человечество выполнить свое назначение без коренной революции в социальных условиях Азии. Если нет, то Англия, несмотря на все свои преступления, была бессознательным орудием истории, вызывая эту революцию.<sup>29</sup>

В этом отношении британцы не слишком отличались от других капиталистических режимов в мире. «Разве буржуазия когда-либо делала

<sup>26</sup> Это замечание было сделано по поводу рабовладельческих нецивилизованных обществ, но оно применимо и к другим видам правления.

<sup>27</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 9. С. 131.

<sup>28</sup> Там же. С. 224.

<sup>29</sup> Там же. С. 136.

больше? Разве она когда-нибудь достигала прогресса, не заставляя как отдельных людей, так и целые народы идти тяжким путем крови и грязи, нищеты и унижений?»<sup>30</sup> Прикрытие корыстных интересов фигурным листком цивилизаторской миссии было еще одним примером «глубокого лицемерия» капитализма.<sup>31</sup> То, что Милль считал примирением либеральных ценностей с колониальными методами, Маркс называл лицемерием — и в этом он не отличался от большинства тогдашних и сегодняшних критиков колониализма. Но его отличие от многих из них — и особенно от многих постколониальных теоретиков — состоит в том, что он поддерживал другой элемент дилеммы — развитие. Преобразование капитализмом мира было необходимым этапом на пути к полному расцвету человеческих способностей при социализме. «Лишь после того как великая социальная революция овладеет достижениями буржуазной эпохи, мировым рынком и современными производительными силами и подчинит их общему контролю наиболее передовых народов, — лишь тогда человеческий прогресс перестанет уподобляться тому отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар иначе как из черепов убитых».<sup>32</sup>

Сегодня историческая вера Маркса в «великую социальную революцию», как и рациональная вера Канта в божественный или естественный план истории, во многом утратила свою способность к примирению этих противоречий, которой она, возможно, обладала когда-то. Так, как будет показано в разделе V, многие постколониальные критики сегодня стоят на другой стороне дилеммы, нормативно осуждая неоимперские отношения и отвергая теорию развития как идеологию империи. Теоретики, которые продолжают придерживаться обеих сторон дилеммы и пытаются преодолеть разрыв между ними, сталкиваются с обвинениями в «глубоком лицемерии». И, чтобы избежать этих обвинений, многие отказываются либо от универсальных норм, либо от нарративов развития, идеологическое сочетание которых с самого появления либерализма использовалось для оправдания империи.

Теоретически проблема возникает, когда универсальные моральные принципы — наподобие тех, что выводятся Кантом из чисто практического разума или Миллем из соображений полезности, — «применяются» к социальной реальности, которая, с антропологически-исторической точки зрения, описывается как развивающаяся в важных отношениях. Поэтому «чистые моральные принципы» в формулировке Канта нуждаются в «схематизации» для учета важных различий при надлежащем применении, то есть различным образом в различных контекстах. В качестве примера таких схематизированных моральных принципов он приводит правила, которые применяются к людям, «принимая во вни-

<sup>30</sup> Там же. С. 228.

<sup>31</sup> Там же. С. 229.

<sup>32</sup> Там же. С. 230.

мание их положение, возраст, пол, состояние их здоровья, их благосостояние или бедность и т. д.», или в зависимости от того, находятся люди «в культурном или в диком состоянии».<sup>33</sup> Точно так же Милль напоминает нам, что, хотя «собирательная правительственная наука» подчиняется общим законам, последние должны применяться по-разному в зависимости от «существующей уже степени развития общества», ибо «одно из существеннейших достоинств правления» состоит в том, что оно способствует развитию народа, которым оно правит (РПП, 32–33).

Но не только такие «контексты применения» связывали либеральную теорию с европейским империализмом; эта связь присутствовала уже в «контекстах происхождения».<sup>34</sup> Сочетание универсализма с развитием с самого начала использовалось прогрессивным либерализмом для оправдания империи – и не случайно; ибо общие объяснения истории и общества, которые служили этой цели, всегда были интерпретациями с практически ангажированной точки зрения: они отражали характер контактов европейцев с неевропейскими обществами со времен эпохи «великих географических открытий». И принимая во внимание герменевтическую позицию, определявшуюся их превосходством в силе и верой в превосходство своей культуры и институтов, это не удивительно. И неравенство в силе определило контекст, в котором независимость и равное уважение, требуемые в теории, не могли быть осуществлены на практике. Поскольку колониальные державы обычно невозможно было заставить обсуждать различия на равных, они предпочитали интерпретировать их в иерархических и временных терминах. Заметные различия становились признаками отсталости, а отсталость означала, что их время прошло. Соответственно, применение либеральных идеалов могло принимать форму универсализма, нацеленного на приведение общества в соответствие с требованиями времени.<sup>35</sup> Это создает знакомый эффект «еще не», как в «еще не готовы к самоуправлению», откладыванию равного отношения и независимости до времени, когда потребность в образовании и развитии покоренного населения не будет удовлетворена. Имея дело с отсталыми народами, как и с детьми, бессмысленно искать согласия у тех, кем правят; самое большее, на что можно надеяться, – это хорошее колониальное правление или, по выражению самого Милля, хороший деспотизм, который однажды сделает такое согласие уместным. Такая прогрессивная колониальная политика, имеющая дело с институтами и практиками, которые принадлежат к прошлому, легитимизируется ориентацией на будущую реформу. Она компенсирует отрицание свободы и равенства в настоящем, выдавая «долговое обязательство» насчет будущей сво-

<sup>33</sup> Кант И. Сочинения. Т. 4. С. 411–412.

<sup>34</sup> Классические формулировки либерализма датируются временем после полного завоевания Ирландии, основания Ост-Индской компании и Вирджинии.

<sup>35</sup> Этот вопрос рассматривается в: Mehta U. S. Liberalism and Empire. P. 106–111.

боды и равенства, при условии, конечно, что такое развитие действительно произойдет. Форма этого будущего уже известна: это, в общем и целом, нынешняя форма наиболее развитых обществ. Но в настоящее время требуется использование власти для развития колонизаторами и принятие (временного) откладывания самоуправления колонизированными. Когда все становилось слишком очевидным, «хороший деспотизм» оказывался идеологическим прикрытием для господства и эксплуатации, а чаша терпения «туземцев» неизбежно переполнялась. На этом фоне не удивительно, что многие постколониальные мыслители сегодня отвергают или деконструируют саму идею развития.

## V

До недавнего времени — за некоторыми важными исключениями, вроде Ганди, — критики либерального развития вслед за Марксом продолжали мыслить в категориях развития (в широком смысле слова). Но в 1980–1990-х гг. начался широкий отход от идей развития. Различные формы постколониальной мысли, зачастую опираясь на постницшеанскую и постхайдеггериянскую критику западного гуманизма, оспаривали основные посылы «развития». С этой более радикальной точки зрения даже общепринятые формы марксистской критики казались модернистскими тропами, ориентированными на окончательное сближение всех обществ и культур. Речь шла о необходимости не новых форм критического модернизма, а постмодернизма, не лучших форм развития, а постразвития. С тех пор происходило последовательное укрепление позиций постмодернистов и теоретиков постразвития, среди которых можно выделить два больших направления, зачастую пересекающихся друг с другом и с другими течениями.<sup>36</sup>

Первое направление, использующее иногда в качестве своей отправной точки работы Фуко, считает развитие режимом власти/знания, который призван прийти на смену колониальному режиму, и, следовательно, стратегией современной власти, а не путем к освобождению.<sup>37</sup> Оно связывает «универсальный разум» с властными отношениями: рациональное справедливо для каждого, каждый должен поступать рационально и каждого можно заставить поступать рационально. В результате многочисленных, зачастую подразумеваемых, рассуждений западные гуманистические идеалы связываются с дисциплинарными

<sup>36</sup> Примеры такого рода критики см.: Rahnema M. *The Post-Development Reader*; Sachs W. *The Development Dictionary*. London: Zed Books, 1992; Munck R., O'Hearn D. *Critical Development Theory*. London: Zed Books, 1999.

<sup>37</sup> См., напр.: Escobar A. *Encountering Development: the Making and the Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1995. Анализ колониального дискурса как сочетания особых форм знания с особыми властными отношениями ранее был предложен в необычайно влиятельной работе Эдварда Саида: Саид Э. *Ориентализм: западные концепции Востока*. СПб.: Русский Мир, 2006.

ми стратегиями, включенными во властные отношения и нацеленными на порабощение, нормализацию и осуществление власти над незападными народами. Поскольку практическое знание местных традиций в парадигме развития отвергается, возникает потребность во внешней помощи со стороны уже развитых обществ и международных органов, занимающихся проведением их политики. Огромные армии чиновников, планировщиков и экспертов наделяются властью / знанием. И принимая во внимание разрыв между экспертным и местным знанием, развитие неизбежно структурируется как область «вертикального» воздействия, направленного сверху вниз. Именно эксперт определяет, какие улучшения необходимы, что наиболее полезно для «целевой группы», короче говоря, что думать и что делать. Гегемония «разума», таким образом, обеспечивается силами, которые не ограничиваются силой лучшей аргументации. Задача этой генеалогической критики состоит в ниспровержении европоцентризма, лежащего в основе дискурсивных формаций «развития» и «модернизации», посредством разоблачения их взаимосвязи с технологиями неоимперской власти.

Второе широкое течение критики теоретиков постразвития, зачастую сочетающееся на практике с другими течениями, является деконструктивистским по тону (иногда его можно опознать по ссылкам на работы Жака Деррида). Основная идея заключается в том, что европоцентризм настолько глубоко проник не только в исторические и социальные исследования, но и в политические и популярные представления, что колониальному дискурсу удалось пережить смерть самого колониализма. Теория развития, в частности, представляет собой необычайно глубоко укоренившийся образ мысли, и против него нет никакого иного противоядия, кроме последовательной «деколонизации мысли».<sup>38</sup> Декolonизация исторического и социального воображаемого бывших колонизаторов и бывших колонизированных одинаково требует чего-то отличного от того, что способны предложить даже самые гуманные версии «развития», так как они пытаются только улучшить развитие, воссоединить развитие со справедливостью, достоинством, демократией, вернуть ему «человеческое лицо». Но парадигма развития неразрывно связана с проектом западного господства и не может быть исправлена реконструкцией. Скорее, она должна последовательно деконструироваться, пока мы не научимся мыслить историю в тотализирующих терминах как единый процесс с единообразным будущим. Необходимые для этого инструменты можно найти в форме культурной критики, которая работает внутри и вне европоцентризма.<sup>39</sup> Невозможно мыслить вне «Запада»; скорее, критикам следует использовать изменчивость и двой-

<sup>38</sup> Правда, эта знаменитая формула была предложена не деконструктивистом: Nandy A. *Colonization of the Mind // The Post-Development Reader*. P. 168–178.

<sup>39</sup> См.: Young R. *White Mythologies: Writing History and the West*. London: Routledge, 1990.



ственность, которые присутствуют в западной мысли о Другом, чтобы произвести его деконструкцию. Попытки колониального и неоколониального дискурса создать тотальность путем исключения или гомогенизации Другого неизбежно терпят провал; неассимилируемые элементы неизбежно проникают в такой дискурс, ему свойственна амбивалентность. И деконструктивистская критика может использовать такую амбивалентность для ниспровержения его власти.<sup>40</sup>

Генеалогический и деконструктивистский способы анализа дискурса, а также другие подходы постмодернистов и теоретиков постразвития, следуют культурной политике, нацеленной на сопротивление господству европоцентризма и ослабление его связи с воображаемым постколонизаторов и постколонизированных. Но не раз поднимался вопрос: зачем, ради чего все это? Чтобы постмодернистская критика не завершилась своеобразным дискурсивным идеализмом и политическим пессимизмом, она должна предложить некую идею того, что необходимо сделать, в качестве жизнеспособной альтернативы либеральным и марксистским концепциям развития. И потом влияние современных культурных и институциональных форм становится все труднее пошатнуть; оказывается трудно, если не невозможно, помыслить социальную и политическую реконструкцию без опоры на такие формы. И если дело обстоит именно так, то у нас нет иной альтернативы, кроме возвращения к нашей дилемме и ее переосмысления.

Дипеш Чакраварти так выразил эту мысль: «Феномен “политической современности”, а именно управление при помощи современных институтов государства, бюрократии и капиталистического предприятия, невозможно *помыслить* нигде в мире без обращения к определенным категориям и концепциям, генеалогия которых... связана со всей европейской мыслью и историей. Политическую современность невозможно осмыслить без этих и связанных с ними понятий... Это наследие теперь глобально».<sup>41</sup> То есть вследствие европейской глобальной гегемонии в современную эпоху некоторые формы и содержания мысли стали «неизбежными — и в некотором смысле незаменимыми» (PE, 4). Они формируют знание, теперь глобальное, в истории и гуманитарных науках, включая анализ и критику самого западного империализма. Но хотя европейская мысль «теперь является общим наследием», она также «неспособна помочь нам осмыслить опыт политической современности в незападных нациях» (PE, 16). «Провинциализация» или «децентрирование» Европы, таким образом, требует не отказа от европейской мысли, «которой все обязаны своим интеллектуальным существованием», а переосмысления и возвращения ее «на окраины», которые множест-

<sup>40</sup> См., напр: Spivak G. Ch. In *Other Worlds: Essays in Cultural Politics*. New York: Methuen, 1987; Bhabha H. K. *The Location of Culture*. London: Routledge, 1994.

<sup>41</sup> Chakrabarty D. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton: Princeton University Press, 2000. P.4. Далее цитируется в тексте как PE.



венны и разнообразны (PE, 16). В частности, историцистская идеология, согласно которой незападная современность просто копирует западную модель, пусть и с большим или меньшим запозданием, и которая все еще определяет теорию и практику развития в большинстве национальных и международных сред, должна быть замещена более плюралистическим осмыслением прошлого и нынешних возможностей.

Это значит, что сложности с «внутренним/внешним», используемые постмодернистскими мыслителями в деконструктивистских целях, могут также служить отправной точкой для реконструкции: попытки разработать критическую теорию глобального развития, в которой необоснованные, несправедливые и нежелательные элементы реального развития — обязанные своим возникновением и сохранением прежде всего силе и насилию, структурному и символическому, а также намеренному, — исправляются или упраздняются, а обоснованные, справедливые и желательные — обязанные своим появлением добрым намерением и искренности и ведущие к желательным последствиям для местного населения — сохраняются и пересматриваются. Короче говоря, не нужно выбирать между разрушительным воздействием неolibеральной и неоконсервативной глобализации, с одной стороны, и общим отказом от модернизации — с другой. За пределами этого или/или лежит возможность критической реконструкции теории и практики развития в интересах коллективно организованного действия, преследующего демократическую цель улучшения жизни обездоленных. На протяжении большей части истории человечества большинство людей жило в условиях крайней нищеты и ограниченных возможностей. Наука и техника, современная экономика и управление, личные свободы и демократическое самоуправление облегчили такие условия в отдельных частях мира. Многим обездоленным и угнетенным теперь не нужно навязывать развитие. Они считают материальный достаток, основные социальные гарантии, возможность улучшения своей жизненной ситуации и право голоса в вопросах, напрямую касающихся их жизни, весьма желательными.

Амартья Сен выразил эту мысль в своей концепции «человеческого развития» как развития «способностей» людей, то есть процесса расширения их «сущностных свобод», необходимых для того, чтобы прожить свою жизнь так, как они считают нужным.<sup>42</sup> В этом смысле особую важность приобретает наличие основных прав и возможности права голоса в принятии важных решений, касающихся человека и его сообщества, так как они служат условием для осуществления всех остальных способностей. Именно эту последнюю мысль Хабермас пытался разработать в своей теории дискурсивной демократии, согласно которой

<sup>42</sup> Сен А. Развитие как свобода. М.: Новое издательство, 2004. Отметим, что эта формулировка включает основную либеральную ценность независимости, но при этом остается свободной от ограничений, связанных с «развитием» у Милля.

законы, программы и политика легитимны только в том случае, если они встречают осознанное согласие со стороны тех, кого они касаются, в открытом публичном обсуждении.<sup>43</sup> Но постколониальные критики классической теории развития со всей ясностью показали, что на такое согласие бессмысленно рассчитывать, пока основой для оценки культурных и социальных форм прогресса служит его приравнение к западной современности, к человеческому прогрессу. Как только это перестает считаться само собой разумеющимся, ценность западных ценностей оказывается не «данной», а требующей постоянного обсуждения и пересмотра в культурно гибридных дискурсах, обычно ведущих к гибридным результатам.

При всех огромных различиях в истории и культуре, а также в колониальном и постколониальном опыте, бывшие колонизированные регионы мира сталкиваются с одной проблемой необходимости «провинциализации» или децентрализации Европы, «родины современности» (РЕ, 42). Более того, они должны поступить таким образом в условиях глобального капитализма, в которых находятся все они. В этой ситуации голоса «с окраин» будут услышаны только в той степени, в какой динамика накопления капитала вновь подчиняется политическому регулированию и управлению, на этот раз на глобальном, а не просто национальном уровне. Не выполнив этой задачи, наиболее бедные и слабые общества останутся в подчиненном положении и будут и дальше подвергаться эксплуатации со стороны наиболее богатых и сильных обществ. Доминирующая, неолиберальная форма глобализации ведет к разрушению социального: она сводит природу, общество и культуру к множеству «постоянных резервов», имеющихся в распоряжении у наиболее влиятельных заинтересованных групп в экономике. И постмодернистский пессимизм лишает нас надежды, что ситуация может быть изменена к лучшему при помощи политически организованного коллективного действия, опирающегося на «добрые намерения» по крайней мере некоторых форм теории и практики развития.

## VI

И что нам делать с дилеммой развития, увиденной и проанализированной уже Кантом? Наше рассмотрение Милля показало, что она распалась с естественной телеологией и исторической теодицеей. Даже натурализация этики не ослабила ее, пока та или иная форма видового перфекционизма служила критерием для оценки «развития». Как ясно видел Кант и как еще раз подтвердило кровавое XX столетие, между развитием человеческих способностей и ростом человеческой удовлетворенности или благосостояния нет никакой необходимой связи. Но одно отступление от кантовской парадигмы оказало значительное воздейст-

<sup>43</sup> Habermas J. *Between Facts and Norms* / Tr. W. Rehg. Cambridge (MA): MIT Press, 1996.

вие на наш способ осмысления дилеммы развития: детрансцендентализация нашей идеи разума и общее признание ее конститутивной укорененности в языковых играх и формах жизни. Человеческий разум всегда уже «нечист», и универсальное может быть только «конкретным». В отсутствие гегельянского Абсолюта нам остается, как убедительно показал Гадамер и другие, множество форм воплощенного разума, дистанция между которыми может быть преодолена только герменевтическими способами коммуникации. Для нынешних целей это означает, что мы должны переосмыслить дилемму развития с точки зрения исторической и культурной полифонии коммуникативной рациональности. Каким бы ни было «единство разума» в «многообразии его голосов», оно не просто дано, но должно быть достигнуто.<sup>44</sup> Таким образом, идея культурного сближения, лежавшая в основе космополитических надежд Канта, для того чтобы такие надежды могли сохраниться, должна быть дополнена идеей обсуждения культурных различий, которая обычно ведет к гибридности и многообразию, а не однородности.

Нечистота разума и пространство для разумного плюрализма, которое она открывает, также означает, что всякая идея универсальной истории спорна по своей сути. Уже Кант знал, что общие исторические схемы, конструируемые при помощи «рефлексивных суждений», хотя и могут опираться на «определенные суждения» соответствующих эмпирических исследований, никогда не обретают и не могут стремиться обрести статус строгой науки. Тем не менее, вследствие недвусмысленного характера практического разума, как он понимал его, Кант смог предложить единый всеобъемлющий метанарратив воплощения разума в истории. С нашей нынешней точки зрения очевидно, что несводимое многообразие герменевтических точек зрения и практических ориентаций, вдохновляющих интерпретационные усилия, неизбежно выльется в «конфликт интерпретаций» и потребует диалога, несмотря на различия. Исторически доминирующая точка зрения европейской гегемонии и ориентация на цивилизаторскую миссию больше не могут считаться само собой разумеющимися. Успешная борьба за национальное освобождение после Второй мировой войны и формальное признание равенства наций в Организации Объединенных Наций, среди прочего, означали, что культурные различия должны были обсуждаться, а не приниматься априорно, маркируя превосходство или приниженность. И все это также делает схемы развития спорными по своей сути, но это означает не произвольность, а открытость к обоснованному несогласию. Этот методологический урок более всего важен для распространенных теорий развития, которые следовали за Миллем и Марксом, а не за Кантом, считая себя более или менее строгой эмпирической наукой, а не практически ориентированным и связан-

<sup>44</sup> Habermas J. The Unity of Reason in the Diversity of Its Voices // Habermas J. Postmetaphysical Thinking / Tr. W. Hohengarten. Cambridge (MA): MIT Press, 1992. P. 115–148.

ным с конкретным опытом способом интерпретации. В этом отношении множество теорий развития, применявшихся в странах третьего мира после Второй мировой войны, было столь же самодовольно-ограниченным в своих представлениях о западном превосходстве и разрушительным в своих практических последствиях, как и классические теории прогресса имперской эпохи.<sup>45</sup>

Методология опиралась здесь на моральные, правовые и политические соображения. Одна из особенностей противоречия, присутствующего в одновременной приверженности Канта функциональной перспективе антропологически-исторической мысли и нормативной перспективе морально-правовых рассуждений, служит его постоянный акцент на приоритете последнего. Поэтому хорошо известный фрагмент из трактата «К вечному миру», в котором Кант утверждает: природа «добивается того, что человек благодаря ее принуждению, хотя и не во вред своей свободе, будет делать то, к чему его обязывают законы свободы, но чего он не делает», так что «проблема создания государства разрешима... даже для дьяволов (если только они обладают рассудком)»,<sup>46</sup> — дополняется заявлением, что «истинная политика... не может сделать шага, заранее не отдав должного морали... Право человека должно считаться священным, каких бы жертв ни стоило это господствующей власти».<sup>47</sup> То есть политические участники должны делать то, что верно, а остальное оставлять Богу/Провидению/Природе. Но поскольку вера в провиденциальную историю ослабла, раскол между «правом и пользой», как назвал его Кант, в международных делах стал как никогда более широким. Поддержка Миллем полезности в краткосрочной перспективе ради права в долгосрочной сыграла определяющую роль в последующей эволюции теории развития.<sup>48</sup> Но, как напоминает нам Чакраварти, во время эпохи деколонизации и нациестроительства после Второй мировой войны эта давняя структура запаздывания становилась все более нестабильной.<sup>49</sup> Противоречие между «еще не» колониального патернализма и «уже» антиколониального национализма было разрешено не в теории развития, где оно сохранилось, а в политической практике. Потребность в массовых движениях для политизации крестьянства и массовой демократии для предоставления им полного гражданского статуса порождала политическую современность подчиненных классов и политическое изменение теорий развития, имеющих отношение к ним. Нечто схожее мож-

<sup>45</sup> См., напр.: Leys C. *The Rise and Fall of Development Theory*. Bloomington: Indiana University Press, 1996; Gilman N. *Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003. Эта проблема рассматривается также в моей статье «От модернизма к мессианству».

<sup>46</sup> Кант И. *Сочинения*. Т. 6. С. 284–285.

<sup>47</sup> Там же. С. 302.

<sup>48</sup> См., напр.: Gilman. *Mandarins of the Future*.

<sup>49</sup> *Provincializing Europe*. P. 8–10.

но сказать, как мне кажется, и насчет изменений в международном праве после основания Организации Объединенных Наций. Формальное признание новых наций во всех уголках света и глобализация режима прав человека трансформировали структуру «запаздывания» в то, что по-немецки называется *Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen*, одновременностью неодновременного. Борьба за глобальную справедливость должна вестись сегодня на основании морально-правового равенства всех индивидов и народов. Практическое осуществление этого важно для предоставления подлинного права голоса тем, кто, как считается, должен получить пользу от политики развития, и для ослабления всегда существующей опасности патернализма, благожелательного деспотизма или еще чего похуже. Пока формальное признание равенства не будет переведено в демократические практики — прозрачности, подотчетности, представительства, участия и т. д. — или по крайней мере в несколько более справедливое равновесие сил, всегда будет оставаться соблазн превращения либерального прогрессизма в либеральный империализм.

Структура запаздывания не единственный аспект дилеммы развития, который, не будучи разрешенным в теории, утратил свое практическое значение. Кант последовательно утверждал, что функциональный взгляд на историческое развитие зависел от нормативного взгляда на моральный долг. Соответственно, его объяснение человеческого развития не только определялось практической заинтересованностью в осуществлении нашей моральной судьбы, оно должно было быть «применено» не как прогностический инструмент или технический рецепт, а как директива моральной и политической практики. В этом отношении, как мне кажется, Кант был намного ближе к сути, чем многие теории развития. Постоянные попытки построения научных теорий социокультурного развития — будь то неомарксистские теории исторического материализма, неodarвинистские теории социального развития, структурно-функциональные теории модернизации или неолиберальные теории глобализации — не только оказались несостоятельными как теории, но и принесли практический вред. В лучшем случае они вели к бюрократическому правлению научно подготовленных «экспертов по развитию», которые отвергали местное знание и считали «целевые группы» объектами, а не субъектами решений, меняющих жизнь.

Возможен и иной подход, который считает эмпирико-теоретический анализ, предложенный исследованиями развития, данью практически-политическому обсуждению коллективных агентов, стремящихся действовать в соответствии с таким знанием, особенно тех, положение которых, как предполагается, должно благодаря этому улучшиться. Неприятие интерпретативных и практических аспектов теории развития, связанных с ее притязаниями на то, чтобы быть частью «естественной науки об обществе», вполне совместимо с пониманием ее как связанной с конкретным опытом и практически ориентированной аналитической структуры. Первое самописание может быть принято только

в том случае, если основные участники дискурса глобальной современности разделяют одну герменевтическую позицию и практическую ориентацию, продиктованную интересами и реалиями европейского империализма. Но то, что казалось развитием с этой точки зрения, обычно выглядело завоеванием, заселением, порабощением, колонизацией, империализмом, неоимпериализмом и т. д. с других точек зрения.

Безусловно, демократический сдвиг в дилемме развития не устраняет всех противоречий, особенно тех, что связаны с модернистскими представлениями о демократии, правах человека и господстве права. Они не являются когнитивно и оценочно нейтральными. И они сталкиваются с многими аспектами несовременных мировоззрений и форм жизни — с рассмотрением социальных отношений в терминах иерархической взаимозависимости между гендером, кастой, классом и тому подобными вещами; с пониманием социального статуса с точки зрения врожденного достоинства и ценности; с отношением к сложившемуся порядку как к космологически или религиозно закрепленному нормальному и надлежащему положению вещей; с представлением о сложившейся структуре социальных функций как об онтологически укорененной, а не случайной и зависимой; с оценкой множества мировоззрений и форм жизни с точки зрения не разумного плюрализма, а истины и заблуждения, добра и зла; с неприятием легитимности социальных механизмов, которые налагают ограничения на императивную роль религии в формировании общественной жизни и так далее.<sup>50</sup> В результате, остается трудность, связанная с противоречием между, с одной стороны, предпосылками современных правовых и политических форм, которые делают равенство и право голоса необходимыми для разрушения старой связи между либеральным прогрессизмом и либеральным империализмом, и, с другой стороны, предпосылками форм жизни и социальных порядков, которые больше всего нуждаются в таких гарантиях. И выйти из этого положения непросто. Кант надеялся на постепенное «приближение людей к большему согласию в принципах... [которое] вызывает общее стремление жить в мире».<sup>51</sup> В менее провиденциальном и монокультурном ключе можно надеяться по крайней мере на многообразие «творческих адаптаций» к этим условиям (Ч. Тейлор), опирающихся на культурные ресурсы различных традиций и завершающихся пересекающимся консенсусом и функциональной эквивалентностью, которые позволяют достичь глобального мира и глобальной справедливости.<sup>52</sup>

*Перевод с английского Артема Смирнова*

<sup>50</sup> См.: Taylor Ch. *Modern Social Imaginaries*. Durham (NC): Duke University Press, 2004.

<sup>51</sup> Кант И. *Сочинения*. Т. 6. С. 287.

<sup>52</sup> См.: Taylor Ch. *Two Theories of Modernity // Alternative Modernities* / Ed. D. Gaonkar. Durham (NC): Duke University Press, 2001. P.172–196.

СТИВЕН ПИНКЕР

## Завязывайте с метафорами!<sup>1</sup>

George Lakoff. Whose Freedom? The Battle Over America's Most Important Idea.  
New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006.

Лингвистика перенесла в мир множество крупных идей. К ним относится эволюция языков, вдохновившая Дарвина на создание эволюции видов; анализ контрастной дистрибуции звуков, вдохновивший структурализм в литературной теории и антропологии; гипотеза Сепира-Уорфа, согласно которой язык формирует мышление; и теория глубинной структуры и универсальной грамматики Хомского. Даже по этим меркам теория концептуальной метафоры Джорджа Лакоффа представляет собой нечто невероятное. Если Лакофф прав, то его теория может сделать все — от ниспровержения тысячелетий ошибочного мышления в западной интеллектуальной традиции до привода демократа в Белый дом.

Лакофф — выдающийся лингвист из Беркли, который в 1960-х работал вместе с Хомским, но порвал с ним, чтобы основать сначала школу генеративной семантики, а затем школу когнитивной лингвистики, которые по-своему пытаются объяснить язык как отражение мыслительных процессов человека, а не автономную совокупность синтаксических правил. Недавно он взял на себя роль спасителя Демократической партии после чудовищного поражения на выборах 2004 г. Он общался с лидерами и стратегами демократов и выступал на закрытых партсобраниях, а его книга «Не думай о слоне!» стала либеральным талисманом. «Чья свобода?» — это очередной вклад лингвиста, выступающего в роли консультанта по выборам. Она представляет собой ответ на постоянные апелляции консерваторов к «свободе» для оправдания своей программы. И, судя по одобрительным отзывам Тома Дэшла и Роберта Рейха, она также оказала значительное влияние на видных демократов.

Теория Лакоффа восходит к его анализу метафоры в повседневном языке, впервые предложенному в 1980 г. в блестящей книге, написанной

<sup>1</sup> Pinker S. Block That Metaphor! // The New Republic. 2006. September 10. <https://ssl.tnr.com/p/docsub.mhtml?i=20061009&s=pinker100906>.



в соавторстве с Марком Джонсоном, под названием «Метафоры, которыми мы живем». Когда мы говорим «я разбил его доводы», или «он не смог защитить свою позицию», или «она напала на мою теорию», мы обращаемся к невысказанной метафоре, что спор — это война. Точно так же высказывания, наподобие «наш брак на распутье», или «мы прошли вместе долгий путь», или «он решил смыться», метафорически предполагают, что любовь — это поездка, путешествие. Эти метафоры не требуют многословия, но они насыщают наш язык и делают его более понятным (например, «нам нужно сбавить обороты»). Во всех этих случаях люди должны сознавать глубокую эквивалентность между абстрактной идеей и конкретным опытом. Лакофф настаивает — и не без оснований, — что это важный ключ к нашему когнитивному строению.

Но это еще не все. Концептуальная метафора, согласно Лакоффу, показывает, что все мышление основывается на неосознанных физических метафорах, а убеждения определяются метафорами, в которых выражаются идеи. Когнитивная наука также показала, что мышление зависит от эмоций и что рациональность человека ограничена пределами внимания и памяти. Сделанные открытия, с точки зрения Лакоффа, подрывают западный идеал сознательного, универсального и беспристрастного разума, основанный на логике, фактах и соответствии действительности. Философия в этом случае представляет собой не продолжительный спор, скажем, о знании и морали, а последовательность метафор: философия Декарта основывается на метафоре «знать значит видеть», Локка — «разум — это сосуд», Канта — «мораль — строгий отец». И политические идеологии также следует понимать не с точки зрения основополагающих посылок или ценностей, а только с точки зрения соперничающих версий метафоры «общество — это семья». Правые уподобляют общество семье с авторитарным воспитанием, а левые предпочитают семью, которая больше внимания уделяет самому ребенку, сочувствует ему и пытается его понять.

Политические споры, согласно Лакоффу, являются спорами между метафорами. Граждане не рациональны и не уделяют внимания фактам, кроме тех, что вписываются в рамки, которые «закрепляются в нейрональных структурах нашего мозга» при помощи повторения. Например, во время первого срока Джорджа Буша-младшего президент обещал «облегчить» налоговое бремя, представляя налоги как тяжелый груз; тех, кто желает оказать помощь, как героев, а тех, кто им мешает, как злодеев. Демократы по глупости предложили свою версию «облегчения» налогового бремени, согласившись с рамками республиканцев; это выглядело так, словно людей просили не думать о слоне. Вместо этого им следовало представить налоги в новых рамках в виде «членских взносов», необходимых для поддержания сферы услуг и инфраструктуры общества, членами которого они являются.

И теперь в своей новой книге Лакофф рассматривает понятие свободы, упомянутое в последнем инаугурационном обращении Буша сорок девять раз. Американский консерватизм, по его утверждению, обраща-



ется к понятию свободы, укорененному в морали строгого отца, но тем самым он отбрасывает традиционное американское представление о свободе, основанное на прогрессивных ценностях сочувственного воспитания. Между левыми и правыми существует еще один когнитивный раскол: консерваторы мыслят в терминах прямой причинности, когда действия человека имеют прямые последствия (люди толстеют, потому что им не хватает силы воли), а прогрессисты мыслят в терминах системной причинности, согласно которой последствия вызваны сложными социальными, экологическими и экономическими системами (люди толстеют из-за экономической системы, которая позволяет пищевой промышленности противодействовать государственному регулированию).

Многие работы Лакоффа по лингвистике восхитительны, но «Чья свобода?» и вообще его размышления о политике — это «полный привет». Несмотря на то что в книге содержатся мессианские высказывания обо всем — от эпистемологии до политической тактики, — в ней нет никакого справочно-библиографического аппарата (за исключением списка рекомендованной литературы) и не цитируются работы по политической науке или экономике, ограничиваясь только лингвистикой. Его использование когнитивной нейронауки выходит за рамки всякого консенсуса в этой области, а его анализ политических идеологий искажается собственными политическими пристрастиями и остается ограниченным из-за пренебрежительного отношения к работам других политических мыслителей. И карикатурное описание Лакоффом прогрессистов как добрых умников, а консерваторов как злых дураков, несостоятельно как по интеллектуальным, так и по тактическим причинам.

Начнем с когнитивной науки. Как отмечали многие скептические коллеги Лакоффа, вездесущность метафоры в языке не означает, что все мышление конкретно. Люди не могут использовать метафору в рассуждениях, если они не имеют более глубокого понимания того, какие аспекты метафоры следует принимать всерьез, а какие — игнорировать. В рассуждениях о романе как о поездке / путешествии обычно имеется в виду общий пункт назначения или ухабистые отрезки пути, но вопрос о том, было ли у человека время, чтобы собрать чемоданы, или будет ли на следующей заправке чистый туалет, легко может выбить из колеи. Мышление не может вестись напрямую в метафорах. Оно должно использовать более общие вещи, которые содержат в себе абстрактные понятия, общие для метафоры и ее предмета, — движение к общей цели в случае с путешествием и романом, конфликт в случае спора и войны, — отбрасывая все второстепенное.

Кроме того, многие метафоры не всегда остаются метафорами в собственном смысле слова. Они могли быть живы в умах первых изобретателей, которым необходимо было придать некую звучность при выражении новой идеи (вроде «нападок» для агрессивной критики). Но впоследствии они могут превратиться в простые идиомы. Именно поэтому мы слышим множество мертвых метафор, вроде «приходит в голову»

(которой большинство людей перестало бы пользоваться, зная, что речь идет о выходе гноя из прыщика), смешанных метафор («не плюй в колодец — вылетит, не поймаешь»), «голдвинизмов» («устный договор не стоит бумаги, на которой он написан») и фигуративных употреблений слова «буквально», как в выступлении защитника Никсона Баруха Кроффа во время Уотергейтского процесса: «Американская пресса буквально кастрировала президента». Лабораторные эксперименты подтверждают, что люди не задумываются об образе, лежащем в основе знакомой метафоры, и вспоминают о нем, только сталкиваясь с новой.

Обращение Лакоффа с наукой о мозге вызывает еще большие сомнения. Действительно, «рамки, которые определяют здравый смысл, физически находятся в мозгу», но только в том смысле, что каждая наша мысль — прочная или мимолетная, рациональная или иррациональная — физически находится в мозгу. Представление о том, что рамки, «физически закрепленные» в мозгу, особенно коварны или с трудом поддаются изменению, ни на чем не основано. Когнитивная психология также не доказала, что люди усваивают рамки при помощи повторения. Напротив, информация сохраняется, когда она соответствует более общему пониманию человеком предмета. Это не значит, что люди придерживаются одной рамки, которая повсюду должна выявляться когнитивной лингвистикой, так как люди могут легко переключаться между множеством рамок, которые становятся доступными благодаря языку. Когда Бекки через всю комнату зовет Лиз, наблюдатель может описать произошедшее как оказание воздействия на Лиз, создание сообщения, издание шума, отправку сообщения через комнату или просто определенное движение мускулов Бекки.

В результате люди могут оценивать свои метафоры. В повседневном разговоре они могут привлекать к ним внимание: например, деконструкция метафоры «время — это пространство» в афроамериканской остроте «твоя мать настолько тупа, что ставит линейку рядом с кроватью, чтобы видеть, сколько она проспала». И в науке исследователи тщательно изучают и спорят о том, насколько точно данная метафора (тепло как флюид, атом как солнечная система, ген как закодированное сообщение) передает причинную структуру мира.

Наконец, даже если сознание одного человека определяется рамками и иными границами рациональности, это не значит, что мы не можем рассчитывать на некие плоды совместного мышления, то есть коллективного сознания людей, воплощенного в институтах, вроде истории, журналистики и науки, которые создавались как раз для преодоления таких ограничений при помощи открытых дебатов и проверки гипотез данными. Все это отвергается когнитивным релятивизмом Лакоффа, в котором математика, естественные науки и философия оказываются конкурсами красоты между соперничающими рамками, а не попытками описания природы реальности.

Это делает несостоятельными и его советы на политической арене. Лакофф предлагает прогрессистам не разговаривать с консерваторами

на их языке, не апеллировать к истине и не обращать внимания на опросы общественного мнения. Вместо этого они должны попытаться закрепить новые рамки и метафоры в умах избирателей. Он пишет, что здесь не о чем беспокоиться — это не манипуляции или пропаганда, но составляющая «более высокой рациональности», которой когнитивная наука заменяет старомодную, основанную на универсальном разуме.

Но совет Лакоффа не проходит проверки смехом. Можно представить, какую реакцию вызовет политик, если он, воспользовавшись оруэлловским советом Лакоффа, назовет налоги «членскими взносами». Конечно, не обязательно знать метафору «облегчения налогового бремени», чтобы считать налоги не самой приятной вещью; такое ощущение существует с тех пор как появились налоги. К тому же «налоги» и «членские взносы» — это не просто два способа говорить об одном и том же. Если вы решите не платить взносы, организация перестанет оказывать вам свои услуги. Но если вы решите не платить налоги, вооруженные люди посадят вас в тюрьму. И даже если налоги похожи на членские взносы, то разве — при прочих равных — меньшие взносы не лучше больших? И почему вообще человек должен ощущать потребность в защите самой идеи подоходного налога? Но разве кто-нибудь, если не считать кучки фанатов Айн Рэнд, предлагает его отменить?

Отстаивая свою теорию избирателей-идиотов, Лакофф пишет, что люди не понимают, что им на самом деле выгоднее иметь высокие налоги, потому что все сбережения от сокращения федеральных налогов будут съедены ростом местных налогов и частных услуг. Но если бы это было так, то уставшему от бюрократии населению пришлось бы доказывать это по старинке — рассуждениями, подкрепленными цифрами. И именно этот тип анализа отвергает Лакофф.

Теперь рассмотрим метафору «нация — это семья». Вспомним, что, с точки зрения Лакоффа, консерваторы думают о строгом отце, а прогрессисты — о понимающем воспитании... Да, здесь Лакофф сталкивается с небольшой проблемой. Метафоры нашего языка предполагают, что заботливым родителем должна быть мать, начиная с «питания», которое в английском языке имеет тот же корень, что и «кормление грудью». Вспомните о различиях между «материнской» и «отеческой» заботой! Ценностью, почитаемой нами сразу вслед за яблочным пирогом, является материнство, а не «родительство», и словари перечисляют «заботу» как одно из «материнских», а не «родительских» качеств, не говоря уже о «патернализме», который означает нечто совершенно иное. Но было бы странно, если бы прогрессисты поддержали стереотип, согласно которому женщины лучше способны воспитывать детей, чем мужчины, даже если это согласуется с логикой «метафоры, которой мы живем» у Лакоффа. Так что политкорректность побивает лингвистику, и строгому отцу противопоставляется гермафродитный «сочувствующий родитель».

Теория Лакоффа призвана объяснить подлинную загадку: почему множество различных позиций объединяется вокруг левой и правой идеоло-

гий? Если человек выступает за свободную экономику, можно быть уверенным, что он также поддержит судебные ограничения, жесткое наказание для преступников и сильную армию и будет против затратных программ социального обеспечения, сексуальной свободы и шокирующего искусства. И наоборот, если человек выступает за защиту окружающей среды, то, скорее всего, он поддержит право на аборт, однополые браки и налоги на богатых. На первый взгляд, между этими позициями нет ничего общего. Лакофф утверждает, что эти две группы связаны с соперничающими метафорами семьи — строгим отцом, требующим персональной ответственности от своих капризных детей и наказывающий их, когда они ведут себя плохо, и сочувствующим родителем, выказывающим внимание и делающим акцент на взаимной зависимости.

Лакофф умалчивает о том, что многие бились над этим вопросом и до него, по крайней мере, со времен Гоббса, Руссо, Берка и Годвина. В соответствии со стандартным современным анализом, правые считаются носителями трагического мировоззрения, в котором человеку всегда не хватает знания, мудрости и добродетели, а левые — носителями утопического мировоззрения, в котором человек изначально невинен, но его портят плохие социальные институты и его можно исправить путем реформирования этих институтов. Так, правые близки к рыночной экономике, потому что люди всегда будут активнее работать для себя и своих семей, чем для чего-то, называемого «обществом», и потому что ни один плановик не обладает достаточной мудростью, осведомленностью и незаинтересованностью, чтобы управлять экономикой сверху донизу. Сильная оборона и жесткое уголовное законодательство необходимы именно потому, что у людей всегда будет соблазн силой заполучить желаемое, и только перспектива неотвратимого наказания делает завоевание и преступление невыгодным. И поскольку всегда существует угроза скатывания в варварство, социальные традиции в действующем обществе, несмотря на недостатки неизменной человеческой природы, должны считаться проверенными временем методами, применимыми сегодня так же, как и тогда, когда они были созданы, даже если невозможно предложить разумное объяснение их существования.

Левые, напротив, скорее придерживаются кредо Джорджа Бернарда Шоу (и Роберта Кеннеди) «некоторые люди видят вещи такими, какие они есть, и спрашивают “почему?”», я мечтаю о вещах, которых никогда не было и спрашиваю “почему бы и нет?”». Психологические недостатки возникают под воздействием наших социальных механизмов, которые должны тщательно исследоваться, морально оцениваться и постоянно улучшаться. Желаемых результатов в экономике, социальных системах и международных отношениях невозможно достичь без приложения сознательных усилий.

Этот просвещенческий фрейминг имеет естественное соответствие в метафоре нации как семьи у Лакоффа, потому что различные стили воспитания проистекают из предположения, что дети являются благородными дикарями или противными, жестокими и ограниченными. Каждый

заботливый родитель стремится сбалансировать дисциплину и сочувствие, и, возможно, диалектика между этими двумя крайностями может служить ментальной моделью, стоящей за дебатами левых и правых о благосостоянии, преступности и сексуальности. Менее ясно, как такая метафора будет иметь дело с экономикой, поскольку члены семьи не вступают друг с другом в деловые отношения, и с обороной, поскольку, за исключением Монтекки и Капулетти, большинство семей не ведет войн с другими семьями. И ее невозможно примирить с идеей демократии, в которой граждане соглашаются, чтобы ими правили представители, а не сидят на шее у своих родителей. Но можно представить, что измерение сочувствия / дисциплины способно прояснить нашу политическую психологию.

Но концептуальному анализу, предлагаемому Лакоффом, нет до этого дела. Его сочувствующие родители представляют собой не терпимый полюс континуума, а идеальную точку равновесия, устанавливающую «четкие, но разумные пределы», «авторитетные, но не авторитарные». С другой стороны, его строгий отец выполняет рекомендации Льюиса Кэрролла: «Разговаривайте со своим ребенком грубо и бейте его, когда он чихает». Согласно Лакоффу, идеальный родитель в консервативном мировоззрении любит и заботится только о тех детях, которые «оправдывают возложенные на них надежды», и считает «выражение чувств важным либо в качестве награды за повиновение, либо в качестве средства предотвращения отчуждения через демонстрацию любви, несмотря на строгое наказание». Лакофф не приводит никаких свидетельств из лингвистики или опросов в подтверждение того, что этот уродец служит прототипом отцовства в представлениях о семье рядовых американцев.

Такая подтасовка фактов типична для книги Лакоффа. Будто бы предлагая академический анализ политической мысли, Лакофф не может удержаться от того, чтобы не пририсовать к портрету консерватора рожки чертика, а к портрету прогрессиста — нимб. И это лучше всего видно в его утверждении, что консерваторы мыслят в терминах прямой, а не системной причинности. Лакоффу, по-видимому, не известно, что консерваторы веками выдвигали точно такое же обвинение против прогрессистов.

Существование свободной экономики — от Адама Смита до современных либертарианцев — оправдывается системной выгодой, связанной с рынком (помните метафору «невидимой руки»? ). Лакофф явно не понимает своих врагов, постоянно приписывая им веру в то, что капитализм представляет собой систему вынесения моральных оценок, которая должна вознаграждать прилежных процветанием и наказывать ленивых бедностью. На самом деле свободные рынки основываются на идее о том, что цены служат источником информации о спросе и предложении, которая способна быстро распространяться через огромную децентрализованную сеть покупателей и продавцов, создавая распределенное знание, позволяющее распределять ресурсы более эффективно, чем путем центрального планирования. Каким бы ни было в результате распределение богатства,

оно представляет собой незапланированный побочный продукт, который в некоторых концепциях не имеет никакого отношения к морали. И оно явно не имеет ничего общего с моральной системой воздаяния по заслугам, как полагает Лакофф — заметим — в духе прямой причинности.

Точно так же культурные консерваторы от Берка до наших дней кричат о системной выгоде от культурных традиций, придающих нашей социальной жизни стабильность и благопристойность. Показательным современным примером служит теория сокращения преступности путем быстрой «замены разбитых окон». И обе группы консерваторов радостно указывают на прямые средства решения социальных проблем, предлагаемые прогрессистами (программы «войны против бедности», строгие стандарты защиты окружающей среды, попытки преодоления неравенства в образовании), и на их непредвиденные системные последствия, вроде неверных стимулов и распространения бюрократизма. Но это не значит, что позиции консерваторов непреступны. В то же время нужно невероятное невежество (или нахальство), чтобы, как Лакофф, утверждать, что только прогрессисты, вроде него, способны понять различие между системной и прямой причинностью.

Рассматривая понятие самой свободы, Лакофф вновь не уделяет большого внимания использованию наработок предшественников. Существует два вида свободы. Негативная свобода («свобода от») — право людей действовать так, как им нравится, без принуждения со стороны других. Очевидно, что здесь не обойтись без ограничений — «ваша свобода махать кулаками заканчивается у кончика моего носа». Не менее очевидно, что свободу иногда следует оценивать вместе с другими социальными благами, вроде экономического равенства, так как даже в идеально честном и свободном обществе одни могут становиться богаче других благодаря таланту, усердию или удаче.

Позитивная свобода («свобода для») — это право людей на условия, которые позволяют им действовать так, как им нравится, например, пища, здоровье и образование. Это понятие куда более проблематично, чем негативная свобода, потому что человеческие желания бесконечны и потому что многое из того, что желают люди, может быть удовлетворено только за счет усилий других людей. На протяжении большей части человеческой истории идеи, что люди имеют равное право на оплачиваемый отпуск, центральное отопление и среднее образование, казались немыслимыми. (И как насчет кондиционирования воздуха, ортодонтии или высокоскоростного доступа в Интернет?) Мое желание иметь вылеченные зубы посягает на свободу моего дантиста сидеть дома и читать газету. Поэтому позитивная свобода требует согласия в обществе при данном уровне богатства относительно базовых условий и предполагает экономическую договоренность, которая стимулирует предоставление блага его получателям без принуждения. Именно поэтому многие политические мыслители (особенно Исайя Берлин) с подозрением относились к самой этой идее.



Поскольку свобода должна оцениваться вместе с другими социальными благами (вроде экономического равенства и социальной сплоченности), политические системы могут выстраиваться в соответствии с тем, как они определяют наилучший компромисс — от анархизма и либертарианства до социализма и тоталитаризма. Как бы то ни было, в Америке тяга к либертарианству сильнее, чем в других современных демократиях. Это восходит еще к отцам-основателям, которые были одержимы ограничением власти правительства и не особенно заботились о жизни низших социально-экономических страт.

Это возвращает нас к апелляциям Буша к свободе. Подозреваю, что поиски общей логики, лежащей в основе президентской коалиции христианских фундаменталистов, культурных консерваторов, сторонников вмешательства за рубежом и экономических либертарианцев, так же бессмысленны, как и попытки выявить общий знаменатель у двух Джорджей — Макговерна и Уолласа — в Демократической партии 1960-х — начала 1970-х гг. И смешно считать Буша строгим философом или знатоком языка. Но в его риторике свободы можно выделить определенные темы.

Буш сколотил себе капитал на свободе двумя способами. Он сохранил идею о том, что республиканцы являются большими сторонниками экономической свободы, чем демократы, и выступил против зарубежных движений с открыто тоталитарной идеологией. И это все еще оставляет его противникам множество возможностей для критики, вроде его лицемерно-го протекционизма и увеличения правительства и его заблуждений насчет того, что арабским обществам без труда можно привить либеральную демократию. Но его обращение к «свободе» внешне последовательно и потому встречается (или не встречается) живой отклик у многих избирателей.

О концепции Лакоффа этого сказать нельзя. «То, что я называю прогрессивной свободой, — пишет он, — это просто свобода в американской традиции, это понимание свободы, с которым я рос и которое всегда любил в моей стране». Но нет никаких оснований полагать, что предпочтения Лакоффа и американская традиция тождественны. В его понимании свобода остается чистой и позитивной — и не связанной с какими-либо проблемами. Она заключается в добавлении слов «свобода для» перед каждым пунктом в перечне желаний сторонника левых из Беркли: свобода жить в стране с «положительной дискриминацией», «этичным бизнесом», речевыми кодами, не слишком большим числом богачей и вознаграждением в соответствии с вкладом в общество. Этот перечень простирается от очень узкого — свобода есть «пищу без пестицидов, гормонов, антибиотиков, генетически-модифицированных ингредиентов, здоровую и незагрязненную» — до самого общего — «свободы жить в стране и обществе, где правят традиционные прогрессивные ценности сочувствия и ответственности».

«Дайте мне прогрессивную проблему, — хвастается Лакофф, — и я скажу вам, как она связана с вопросом свободы», не обращая внимания на то, что он только что лишил концепцию свободы всякого содержания. На самом деле вред оказывается еще большим, потому что многие «свободы» Лакоф-



фа — это требования, чтобы общество приняло его видение пользы и блага (вплоть до ингредиентов пищи), и здесь они становятся неотличимыми от тоталитаризма. Как можно обеспечить «вознаграждение в соответствии с вкладом в общество»? Комиссар решит, что оперный певец заслуживает большего, чем исполнитель кантри, или что продавец свинины должен получать больше, чем продавец тирамису? И его свобода не страдать от употребления «вредного языка» — это просто еще одно название безграничной цензуры в политической речи. Несомненно, рабовладельцы считали речи аболиционистов «вредными».

Быть может, со времен «Обновления Америки» Райха не выходило манифеста, пронизанного такой верой в возможность решения проблем страны с безукоризненностью морального видения 1960-х. «Чья свобода?» не учитывает ни одного эмпирического урока прошлых десятилетий, вроде экономической и гуманитарной катастрофы плановых экономик или неизбежного провала программ социального страхования, которые пренебрегают демографической арифметикой. Лакофф презирует идею о том, что социальная политика требует осмысления с точки зрения пользы. Его политика в вопросе терроризма — «мы не защитим свои свободы, отказавшись от них». Его ответ на загрязнение окружающей среды — постоянное повторение тезиса о том, что «у вас нет морального права загрязнять окружающую среду». Не обязательно быть республиканцем, чтобы понять, что это пустая болтовня. Большинство из нас готово отказаться от свободы пронести чемоданы в самолеты и, как выразился прогрессивный экономист Роберт Франк, намекая на затраты на очистительное оборудование и сооружения, «существует оптимальный объем загрязнения окружающей среды, как существует оптимальное количество грязи у вас дома».

Как насчет консервативной концепции свободы? Тут муляжский злодей на время перестает лупить своих детей, чтобы объясниться с нами. По словам Лакоффа, консервативная концепция свободы включает «свободу охотиться, в том числе на вид, находящейся под угрозой исчезновения». Признается необходимость «свободной прессы, потому что бизнес зависит от множества источников точной информации». Религиозная свобода означает «свободу... прочесть десять заповедей на стене здания суда». Консерваторы черпают свою мораль из строгого повиновения своим протестантским священникам, и эта мораль включает веру, что «преследование личных интересов морально», что аборт должны быть запрещены, потому что женщина, забеременевшая вне брака, поступила безнравственно и должна быть наказана рождением ребенка и что каждый «бедный беден именно потому, что ему не хватило дисциплины использовать свободный рынок, чтобы стать преуспевающим», включая «людей, которые обеднели из-за несчастья, так как если бы они были достаточно дисциплинированными, у них было бы все в порядке, и винить во всем они должны только себя».

Проблема в том, что такие ошибочные представления вредны и в интеллектуальном, и в тактическом отношении и они не принесут пользы потен-

циальным читателям этой книги. Все левые союзники Лакоффа, которые считают своих противников такими дураками, какими он их описывает, будут жестоко разочарованы при встрече с молодым республиканцем. Книга Лакоффа льет воду на мельницу его противников справа, которые могут сослаться на его выдумки как на доказательство изолированности и непонимания либералов. А колеблющихся, на которых он на самом деле хочет повлиять, оттолкнут его непрестанное самовосхваление, его явная снисходительность и его бесстыдная карикатуризация убеждений, которым они могут хоть немного симпатизировать.

Хуже всего, что, очерчивая такую узкую идеологическую область, как «прогрессизм», Лакофф сдает обширные территории противнику. Если вы считаете, что недавняя история научила нас тому, что ортодоксальный либерализм 1960-х не работает, если вы считаете, что свободные рынки и свобода торговли приносят экономическую выгоду (хотя и соглашайтесь, что они имеют побочные последствия, которые необходимо уменьшать), если вы считаете, что демократическое правление требует нахождения оптимального баланса в вопросах, наподобие загрязнения окружающей среды, терроризма, преступности, налогов и благосостояния, то вы — «консерватор». Удивительно, что республиканцы еще не вручили Лакоффу орден за заслуги перед ними.

Нынешнюю администрацию есть за что критиковать. Коррупцированное, лживое, некомпетентное, автократичное, безответственное, враждебное к науке и патологически близорукое правительство Буша вызывает недовольство даже у многих консерваторов. Но неясно, какую пользу можно извлечь из анализа этих пороков как желательных результатов некоей последовательной политической философии, если в конечном итоге нам приходится иметь дело с клоунами, описанными Лакоффом. И явно не будет никакой пользы, если демократы назовут себя партией, которая в принципе любит адвокатов, налоги и правительственное регулирование и которая не верит в свободные рынки или индивидуальную дисциплину. Вера Лакоффа в способность эвфемизма сделать такие положения приемлемыми для американских избирателей не подкрепляется достижениями нынешней когнитивной науки или нейронауки. Я бы не советовал политикам отказываться от традиционного политического разума и логики ради «более высокой рациональности» Лакоффа.

«По последним опросам, — сказал философ Джей Лено на прошлой неделе, — рейтинг Буша упал на три процента. На самом деле он настолько непопулярен, что демократам придется серьезно постараться, чтобы проиграть эти выборы». Но если они всерьез примут идеи Джорджа Лакоффа, то вполне смогут преуспеть в этом деле.

*Перевод с английского Артема Смирнова*

ДЖОРДЖ ЛАКОФФ

# Когда когнитивная наука приходит в политику: Ответ на рецензию Стивена Пинкера<sup>1</sup>

На протяжении четверти века Стивен Пинкер и я занимали противоположные позиции в интеллектуальном и научном расколе относительно природы языка и мышления. До появления его рецензии на мою книгу «Чья свобода?» этот раскол ограничивался только академическим миром.

Но недавно проблема мышления и языка вышла в политику. В XXI в. больше нельзя заниматься политикой с представлениями о мышлении, оставшимися неизменными с XVII в. Политические проблемы в нашей стране и мире слишком серьезны.

Пинкер, уважаемый профессор из Гарварда, был наиболее вменяемым представителем старой теории. В языке она выражается в тезисе Ноама Хомского, что язык представляет собой (в формулировке Пинкера) «автономную совокупность синтаксических правил». Это значит, что язык считается просто набором абстрактных символов, не имеющих никакого отношения к тому, что эти символы значат, как они используются в коммуникации, как мозг производит мыслительные операции, используя язык и различные аспекты человеческого опыта (культурного или личного).

На протяжении многих лет я стоял на другой стороне, приводя свидетельства, что все это имеет отношение к языку, и недавние свидетельства когнитивной и нейронауки показывают, что язык предполагает соединение всех этих способностей. По мере дальнейшего развития науки, старые представления утратят основания.

В мышлении эти представления восходят к рационализму Декар-

<sup>1</sup> George Lakoff. When Cognitive Science Enters Politics: A Response to Steven Pinker's Review of *Whose Freedom?* <http://www.rockridgeinstitute.org/research/lakoff/whencognitivescienceenterspolitics>.

та в XVII в. Представление о мышлении как о символической логике было сформулировано Бертраном Расселом и Готлобом Фреге на рубеже XX в., и рационалистическая интерпретация была возрождена Хомским в 1950-х гг. С этой точки зрения, мышление — это вопрос (в формулировке Пинкера) «старомодного... универсального разума». Здесь разум представляет собой манипуляцию бессмысленными символами, как в символической логике.

Новое представление заключается в том, что разум имеет материальное воплощение. Мозг вызывает мысли в виде концептуальных рамок, образов-схем, прототипов, концептуальных метафор и концептуальных смесей. Процесс мышления — это не алгоритмическая манипуляция символами, а скорее нейрональное вычисление с использованием механизмов мозга. Эти механизмы рассматриваются в недавней книге Джерома Фельдмана «От молекул к метафорам».

Вопреки Декарту мышление использует именно такие механизмы, а не формальную логику. Мышление преимущественно бессознательно, и, как писал Антонио Дамасио в «Ошибке Декарта», рациональность *требует* эмоций.

Старый экономический подход связан с моделью рационального актора, в которой все экономические участники предположительно действуют в соответствии с формальной логикой, включая вероятностную логику. Дэниел Канеман получил Нобелевскую премию по экономике за свои работы с Амосом Тверски, показывающие, что реальные люди в своих экономических рассуждениях пользуются рамками, прототипами и метафорами, а не классической логикой.

Эти вопросы важны для прогрессивной политики, потому что многие прогрессисты руководствовались старым рационалистическим представлением, согласно которому если вы сообщите людям факты, то они придут к верным выводам, поскольку разум универсален. «Старомодный... универсальный разум» также предполагает, что все мыслят одинаково, что различия в мировоззрениях не имеют значения. Но всякий, кто видел современные ток-шоу, знает, что не все думают и рассуждают одинаково и что мировоззрение имеет значение.

Между мной и Пинкером есть еще одно расхождение. Пинкер интерпретирует Дарвина в социал-дарвинистском духе. Он использует метафору выживания как борьбы за генетическое превосходство. Он стал одним из основных представителей направления эволюционной психологии, которое утверждает, что между мужчинами и женщинами существуют генетические различия, восходящие к доисторическим различиям в гендерных ролях. Это приводит его к поддержке тезиса Лоренса Саммера о том, что женщин в науке меньше, чем мужчин, из-за генетических различий. К счастью, у этой неудачной метафорической интерпретации Дарвина не слишком много сторонников.

Это расхождение важно, потому что мой когнитивный анализ — в «Моральной политике» — консервативных и прогрессивных идеоло-

гий с точки зрения метафоры нации как семьи не согласуется с его версией эволюционной психологии. Серьезность современной политики в Америке делает такие вопросы не просто игрой словами. Если я — и другие нейрочеловеки, когнитивные ученые и когнитивные лингвисты — прав, то Пинкер неправ, и наоборот. Но Пинкер справедливо поднимает вопросы и доносит обсуждение этих академических вопросов до общественности.

К сожалению, его рецензия на мою книгу «Чья свобода?» оказалась грубым нападением исподтишка. Из его рецензии вы никогда не поймете, о чем моя книга. На самом деле, она о том, что свобода — это спорное понятие, насчет которого у людей имеются различные версии, зависящие от их ценностей. Эта книга объясняет, как консервативная и прогрессивная идеологии растягивают ограниченное общее представление о свободе в противоположных направлениях, чтобы развить две противоположные версии «одного и того же» понятия.

В рецензии используются две риторические стратегии:

- Во-первых, утверждение, что я говорю ровно противоположное тому, что я на самом деле говорю. Указание на то, что это смешно. Затем высмеивание меня за то, что я говорю такие вещи. Пинкер постоянно использует такую тактику.
- Во-вторых, предположение, что его старая теория однозначно верна и что все остальное — радикально и безумно. Он использует вторую стратегию в своей политике и теории мышления.

Вот некоторые примеры.

Пинкер представляет результаты исследования концептуальной метафоры следующим образом:

«Концептуальная метафора, согласно Лакоффу, показывает, что все мышление основывается на неосознанных физических метафорах...»

На самом деле я утверждал совершенно обратное.

- В двенадцатой главе «Метафор, которыми мы живем» рассматриваются неметафорические основания концептуальных систем.
- Вторая глава «Больше, чем холодный разум» начинается с раздела «Что не является метафорическим».
- Половина работы «Женщины, огонь и опасные предметы» посвящена неметафорическому концептуальному анализу, предвещающему примеры метафорического мышления.
- Марк Джонсон и я в «Философии во плоти» (см.: Гл. 3) рассматривали основные механизмы мышления, не связанные с метафорой, например, образы-схемы, концептуальные рамки (иногда называемые в психологии просто «схемами») и различные прототипические структуры.

Метафорическое мышление основывается на этих широких и необычайно важных аспектах неметафорического мышления. Система мета-

форического мышления обширна, как подробно показывают книги по когнитивной науке. Результаты, полученные другими направлениями когнитивной науки и доказывающие реальность бессознательной концептуальной метафоры, приведены в шестой главе «Философии во плоти».

После заявления о том, что я полагаю, будто все мышление метафорично, Пинкер приступает к критике, заняв позицию, которая на самом деле отстаивается мною: «Мышление не может вестись напрямую в метафорах». Но я не просто говорю об этом, но и доказываю это эмпирически.

Пинкер имеет превратное представление и об исследованиях в своей профессиональной области — психологии. «Лабораторные эксперименты подтверждают, что люди не задумываются об образе, лежащем в основе знакомой метафоры, и вспоминают о нем, только сталкиваясь с новой». Но эксперименты доказывают обратное, как показали Рэй Гиббс из Калифорнийского университета в Санта-Круз и Лера Бородицки из Стэнфорда, работа которой удостоилась премии Национального научного фонда США.<sup>2</sup>

Кроме того, Пинкер неверно истолковывает основные результаты современных исследований метафоры: метафора — это вопрос мышления, а не просто языка. Одни и те же слова могут относиться к различным концептуальным метафорам. Возьмем знакомый пример: *It's all downhill from here* может означать либо (1) все становится хуже и хуже, исходя из метафоры «хорошо — верх, плохо — низ», либо (2) все становится проще и проще, исходя из метафоры, в которой действие понимается как движение («все идет, как надо»), а «простое действие» как легкое («все идет само собой») движение. В литературе полно таких примеров.

Одна из моих постоянных тем — это важность фактов и необходимость наличия правильной системы для понимания этих фактов. При наличии рамок, которые не согласуются с фактами, находящиеся в мозгу рамки останутся, а факты не будут замечены. Именно поэтому установление рамок столь важно для раскрытия правды. Именно поэтому я писал в «Не думай о слоне!»:

Факты важны. Они имеют решающее значение. Но они должны быть помещены в соответствующие рамки, чтобы стать действенной частью публичного дискурса. Необходимо знать, что факты имеют отношение к моральным и политическим принципам. Мы должны помещать такие факты в рамки так эффективно и чест-

<sup>2</sup> Подробнее см.: Gibbs R. *The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding*. New York: Cambridge University Press, 1994. *Metaphor in Cognitive Linguistics* / Eds Gibbs R., Steen G. Amsterdam: John Benjamins, 1999. Katz A., Cacciari C., Gibbs R., Turner M. *Figurative Language and Thought*. New York: Oxford University Press, 1998. Boroditsky L. *Metaphoric Structuring: Understanding time through spatial metaphors* // *Cognition*. 2000. Vol. 75. No. 1. P.1–28.

но, как только можно. И честное помещение фактов в рамки приведет к тому, что другие рамки смогут быть проверены другими фактами (pp. 109–110).

Короче говоря, я отстаиваю реалистические позиции в понимании работы мышления и мира. Поскольку мышление работает с рамками и метафорами, задача состоит в использовании мышления для точного описания того, как работает мир. Именно в этом заключается суть «изменения рамок» — исправления рамок, искажающих истину, и выявления рамок, позволяющих увидеть истину.

Но Пинкер настаивает, что я говорю обратное, что вместо того, чтобы быть реалистом, я являюсь когнитивным релятивистом: «Все это отвергается когнитивным релятивизмом Лакоффа, в котором математика, естественные науки и философия оказываются конкурсами красоты между соперничающими рамками, а не попытками описания природы реальности. Это делает несостоятельными и его советы на политической арене. Лакофф предлагает прогрессистам не разговаривать с консерваторами на их языке, не апеллировать к истине и не обращать внимания на опросы общественного мнения. Вместо этого они должны попытаться закрепить новые рамки и метафоры в умах избирателей. Он пишет, что здесь не о чем беспокоиться — это не манипуляции или пропаганда...».

В «Не думай о слоне!» я прямо писал о манипуляциях и пропаганде:

Манипулирование является злоупотреблением рамками. Манипулирование используется, когда случается или говорится нечто неудобное, и это попытка наложить на произошедшее или сказанное невинную рамку, которая позволяет этому неудобному зазвучать нормально или даже приятно.

Пропаганда — это еще один вид злоупотребления рамками. Пропаганда — это попытка заставить публику принять рамку, которая не является истинной, когда известно, что она не является истинной, для получения или сохранения политического контроля.

Предлагаемое мной изменение рамок не имеет отношения ни к манипулированию, ни к пропаганде. Прогрессистам необходимо научиться использовать рамки, в которые они действительно верят, рамки, которые выражают их реальные моральные взгляды. Я решительно выступаю против любых рамок, вводящих в заблуждение (pp. 100–101).

И здесь Пинкер вновь приписывает мне вещи, полностью противоположные тем, что я говорю на самом деле.

Одно из наиболее важных для политики открытий когнитивной науки заключается в том, что рамки являются ментальными структурами, которые могут быть связаны либо со словами (поверхностные рамки), либо со структурами более высокого уровня организации знания. Поверхностные рамки удерживаются без труда только в том случае, если они вписаны в структуры более высокого порядка, наподобие мировоззрений



строгого отца/сочувствующего родителя, подробно рассмотренных мною в «Моральной политике» и других работах. И в «Размышлениях о главном» я (вместе с моими коллегами по Институту Рокриджа) писал:

Поверхностные рамки ассоциируются с фразами вроде «войны с террором», которые одновременно активизируют глубинные рамки и зависят от них. Они представляют собой наиболее базовые рамки, которые образуют моральное мировоззрение или политическую философию. Глубинные рамки определяют весь «здоровый смысл». Без глубинных рамок поверхностным рамкам не на что опереться. Лозунги не имеют смысла без соответствующих глубинных рамок (р. 29).

Эта мысль содержится и в других моих книгах, посвященных применению когнитивной науки к политике. И вновь Пинкер утверждает, что я говорю ровно противоположное. «Когнитивная наука не доказала, что люди усваивают рамки при помощи повторения. Напротив, информация сохраняется, когда она соответствует более общему пониманию человеком предмета». Но именно об этом я и говорю! Глубинные рамки определяют «более общее понимание человеком предмета», а поверхностные рамки могут «сохраняться» только тогда, когда они соответствуют более глубоким рамкам.

Я постоянно говорю о том, что американцы обычно держат в своих мозгах обе модели — строго отца и сочувствующего родителя. Например, в «Чьей свободе?» я пишу: «В конце концов, — и это главное — обе модели содержатся в мозгах почти всех американцев». Вся десятая глава «Не думай о слоне!» посвящена этому феномену. В «Размышлениях о главном» речь об этом идет в главе под названием «Биконцептуализм». Но Пинкер настаивает: «Это не значит, что люди придерживаются одной рамки, которая повсюду должна выявляться когнитивной лингвистикой, так как люди могут легко переключаться между множеством рамок, которые становятся доступными благодаря языку». Не все настолько гибки, чтобы переключаться с консервативного на прогрессивное мировоззрение, но многие могут переходить с одних позиций на другие в конкретных областях жизни — или ситуации выборов, — как я показываю.

В «Чьей свободе?» я также рассматриваю различие между *свободой от* и *свободой для* (р. 30). И на протяжении всей книги я показываю, что и прогрессивная, и консервативная версии свободы используют как *свободу от*, так и *свободу для*. Например, прогрессисты уделяют особое внимание свободе *от* нужды и страха, а также *от* слежки правительства за гражданами и от медицинского вмешательства в решения семьи, и свободе [*для*] возможностей и самореализации в жизни (например, в образовании и здравоохранении). Консерваторов заботит свобода *от* вмешательства правительства в дела рынка (например, путем регулирования) и свобода [*для*] пользования своей собственностью так, как им угодно. Короче говоря, ссылки на Исайю Берлина в этом случае неуместны.

Пинкер ведет себя так, словно я ничего не говорю об этом различии: «Лакофф вновь не уделяет большого внимания использованию наработок предшественников. Существует два вида свободы». А затем он начинает рассказывать мне о *свободе от* и *свободе для*, хотя в книге постоянно говорится об этом. И что еще хуже — его рассказ просто неверен. Он делает старомодные заявления, которые попросту не работают. Это легко увидеть, если прочесть мою книгу.

В седьмой главе «Чьей свободы?» также рассматриваются отношения между прямой и системной причинностью. В самом начале этой главы я говорю: «Конечно, это не значит, что консерваторы слабоумные и не способны мыслить с точки зрения сложных систем. На самом деле консервативные стратеги постоянно побеждают прогрессивных стратегов, когда речь заходит о долгосрочных стратегических инициативах». По утверждению Пинкера, «нужно невероятное невежество (или нахальство), чтобы, как Лакофф, утверждать, что только прогрессисты, вроде него, способны понять различие между системной и прямой причинностью».

Я закончу на этом, хотя та же тактика постоянно используется в его рецензии.

Результаты, полученные нейронаукой и когнитивной наукой, показывают, что, вовсе не обращаясь к «старомодному универсальному разуму», люди на самом деле мыслят с помощью рамок, прототипов, образов-схем и метафор — и делают эмоции важной составляющей рациональности. Все эти механизмы воплощены — они связаны с мозговой структурой и нейрональными вычислениями — с одной стороны, и телесным опытом — с другой. Они лежат за пределами формальной логики, которая составляет основу современной версии рационалистической мысли XVII в.

Что нужно делать перед лицом такой реальности? В «Чьей свободе?» я выступаю за «более высокую рациональность», образ мысли, который учитывает достижения когнитивной и нейронауки, — рациональность, которая говорит о рамочном и метафорическом мышлении и обсуждает его последствия для политики. Но это возможно только при понимании подлинной природы мышления и ее честном и открытом общественном обсуждении.

Какие выводы можно сделать из «рецензии» Пинкера? Почему он постоянно приписывает мне вещи, полностью противоположные тому, что я говорю? Я могу выдвинуть два объяснения:

1. Он ощущает угрозу и пытается ударить исподтишка, чтобы получить конкурентное преимущество любой ценой.
2. Он мыслит в старых рамках, которые мешают ему принимать новые идеи и факты, не вписывающиеся в его рамки. Поскольку он может понимать, что я говорю, только с точки зрения своих старых рамок,

ему мои слова кажутся бессмыслицей. То есть поскольку факты, озвучиваемые мной, не соответствуют его рамкам, его рамки остаются, а факты приводятся в соответствие с его рамками.

Я не знаком с Пинкером настолько хорошо, чтобы знать, какой из этих вариантов является верным или, возможно, существует какое-то третье объяснение.

\* \* \*

Если вы желаете познакомиться с тем, что я говорил на самом деле, я отсылаю вас к следующим книгам и обширным библиографиям, приведенным в них:

*Неполитические книги:*

Метафоры, которыми мы живем. М.: Эдиториал УРСС, 2004 (в соавторстве с М. Джонсоном).

Женщины, огонь и опасные предметы: Что категории языка говорят нам о мышлении. М.: Языки славянской культуры, 2004.

More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor (with Mark Turner). Chicago: University of Chicago Press, 1989.

Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Philosophy. (with Mark Johnson). New York: Basic Books, 1999.

Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being. New York: Basic Books, 2000.

*Применение к политике:*

Moral Politics. Chicago: University of Chicago Press, 1996. (Second edition, 2003).

Don't Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate. White River Junction, VT: Chelsea Green, 2004.

Whose Freedom? The Battle Over America's Most Important Idea. New York: Farrar Strauss Giroux, 2006.

Thinking Points: Our American Vision and Values; A Progressive's Handbook (with the Rockridge Institute). New York: Farrar Strauss Giroux, 2006.

*Перевод с английского Артема Смирнова*

ДЖЕК ГОЛДСТОУН

## К теории революции четвертого поколения

### Введение

В последние годы исследование причин, закономерностей развития и результатов революций расплодилось по темам и дисциплинам подобно амёбе, растягиваясь в различных направлениях в ответ на те или иные стимулы. Прежде четко структурированная подобласть исследований, занимавшаяся в первую очередь немногочисленными «великими революциями» в Европе и в Азии, отныне охватывает и крушение африканских государств (Migdal 1988, Migdal et al 1994, Zartman 1995), и переход к демократии в Восточной Европе и других странах (Banac 1992, Linz & Stepan 1996), и исламские фундаменталистские движения на Ближнем Востоке (Keddie 1995b), и партизанские войны в Латинской Америке (Wickham-Crowley 1992). Более того, вдобавок к выявлению ключевых причин и последствий революций, исследователи пытаются объяснить микропроцессы революционной мобилизации и лидерства, используя всевозможные подходы — от анализа рационального выбора (Opp et al 1995) до социологических и антропологических исследований социальных движений (Selbin 1993, Aminzade et al 2001a). Тем самым изучение революций переросло в многостороннее исследование самых разнообразных событий.

В коротком обзоре невозможно охватить такое обилие литературы и тем более лавину печатных трудов с анализом конкретных революций. Поэтому я поставил своей целью вкратце рассмотреть развитие компаративного и теоретического анализа революций в течение последних десяти лет и изложить основные концепции и открытия, на которых в настоящее время строится наше понимание того, как и почему происходят революции. Однако не исключено, что изучение революций подходит к тупику, где будет просто погребено под всевозможными фактами и концепциями, которые оно пытается охватить. Поэтому в заключение мною выдвигается ряд предложений по поводу того, как изменить этот подход и придать теориям революции более общий характер.

## Сущность зверя

### *Определения революции*

Новые события, свершившиеся на сцене всемирной истории, привели к появлению новых определений революции. В 1980-е гг. большинство исследователей революций занимались в первую очередь «великими революциями» в Англии (1640), Франции (1789), России (1917) и Китае (1949). Хотя специалисты признавали, что и другие события – такие как мексиканская и кубинская революции (Womack 1968, Dominguez 1978, Eckstein 1986, Knight 1986) – имеют серьезные основания называться великими революциями, самые влиятельные сравнительные исследования революций от Бринтона (Brinton 1938) до Скочпол (Skocpol 1979) уделяли внимание в основном горстке событий в Европе и Азии. Сформулированное Скочпол (Skocpol 1979:4) определение великих социальных революций – «стремительное, коренное преобразование государственных и классовых структур общества... сопровождаемое и отчасти осуществляющееся посредством восстаний масс, имеющих классовую основу» – получило всеобщее признание в качестве стандартного.

Однако в определении Скочпол игнорируются такие вопросы, как революционная идеология, этническая и религиозная основы революционной мобилизации, конфликты внутри элиты и возможность мультиклассовых коалиций. Скочпол сознательно идет на такое упрощение, так как ни один из этих факторов не рассматривался в числе ключевых моментов революций. В течение 1970-х и 1980-х гг. доминирующим подходом к революциям являлся структурный анализ, основанный на марксистской исторической перспективе, подразумевающей, что воздействие капиталистической конкуренции на классовые и государственные структуры порождает классовые конфликты, которые ведут к преобразованию общества.

Работа Скочпол стала венцом того, что я называю третьим поколением революционного анализа (Goldstone 1980). Суть его состояла в том, что ряд исследователей, включая Мура (Moore 1966), Пейджа (Paige 1975), Эйзенштадта (Eisenstadt 1978) и многих других, раздвинули рамки старого марксистского классового подхода к революциям, обратив внимание на сельские аграрно-классовые конфликты, конфликты государства с автономными элитами и влияние международной военной и экономической конкуренции на внутривосточное развитие. У Скочпол революции объяснялись сочетанием множества конфликтов с участием государства, элит и низших классов, и поэтому ее работа стала серьезным шагом вперед по сравнению с примитивными описательными обобщениями, наподобие бринтоновского (Brinton 1938), или анализами, основанными на отдельных широких факторах, наподобие «модернизации» (Huntington 1968) или «относительного обнищания» (Davies 1962, Gurr 1970).

Однако, начиная с 1970-х и заканчивая 1990-ми гг., мир стал свидетелем ряда событий, поставивших под сомнение классовое понимание револю-

ций. В Иране и Никарагуа в 1979 г. и на Филиппинах в 1986 г. мультиклассовые коалиции одолели диктаторов, которые долгое время пользовались решительной поддержкой ведущей мировой сверхдержавы, Соединенных Штатов (Dix 1984, Liu 1988, Goodwin 1989, Farhi 1990, Parsa 2000). В Восточной Европе и в Советском Союзе в 1989–1991 гг. социалистические и тоталитарные общества, считавшиеся неподверженными классовым конфликтам, рухнули в обстановке народных демонстраций и массовых забастовок (Banac 1992, Dunlop 1993, Oberschall 1994a, Urban et al 1997, Beissinger 1998). Иранская революция и афганская революция 1979 г. гордо провозгласили себя религиозными, не имеющими основополагающего классового характера (Keddie 1981; Arjomand 1988; Moghadam 1989; Ahady 1991; Moaddel 1993; Foran 1993a). Что же касается антиколониальных и антидиктаторских революций во многих странах третьего мира, от Анголы до Заира, то они стали столь многочисленными и затрагивали так много людей, что местечковая практика определения революций на основе нескольких примеров из европейской истории и истории Китая совершенно изжила себя (Boswell 1989, Foran 1997b). Наконец, в то время как все «великие революции» практически сразу вели к популистским диктатурам и гражданским войнам, ряд недавних революций – включая филиппинскую, революционные события в Южной Африке и несколько антикоммунистических революций в Советском Союзе и Восточной Европе, по-видимому, представляют собой новую модель, в которой революционный крах старого режима сочетается с относительно ненасильственным переходом к демократии (Goldfarb 1992, Diamond & Plattner 1993).

В ответ на эти события теории революции эволюционировали в трех направлениях. Во-первых, исследователи пытались применить структурную теорию революции ко все более разнородным событиям, которые своим числом далеко превосходили немногие «великие» социальные революции. Сюда входят исследования партизанских войн и мобилизации масс в Латинской Америке (Eckstein 1989b, Midlarsky & Roberts 1991, Wickham-Crowley 1992, McClintock 1998); исследования антиколониальных и антидиктаторских революций в развивающихся странах (Dix 1984; Dunn 1989; Shugart 1989; Goodwin & Skocpol 1989; Farhi 1990; Kim 1991, 1996; Goldstone et al 1991; Foran 1992, 1997b; Foran & Goodwyn 1993; Johnson 1993; Goldstone 1994a, Snyder 1998); исследования революций и восстаний в Евразии в 1500–1850 гг. (Barkey 1991, 1994; Goldstone 1991; Tilly 1993); изучение антишахской исламской революции в Иране (Skocpol 1982, Parsa 1989, McDaniel 1991); изучение краха коммунизма в Советском Союзе и Восточной Европе (Bunce 1989; Chirot 1991; Goodwin 1994b, 2001; Luper 1996; Goldstone 1998a).

Во-вторых, следует отметить непосредственные нападки на подход «третьего поколения», отчасти вызванные вышеупомянутыми работами, которые усматривали в данных событиях существенную роль идеологий и различных мультиклассовых революционных коалиций. Исследователи призывали уделить больше внимания сознательным усилиям, роли идеологии и культуры в революционной мобилизации и формули-

ровке целей революции и роли случая в развитии и последствиях революции (Sewell 1985; Rule 1988, 1989; Baker 1990; Kimmel 1990; Foran 1993b, 1995, 1997a; Emirbayer & Goodwin 1994, 1996; Goodwin 1994a, 1997; Selbin 1997). Новые важные сравнительные исследования революций обращали внимание на значение этих дополнительных факторов в недавних событиях (Eisenstadt 1992, 1999; Johnson 1993; Selbin 1993; Colburn 1994; Sohrabi 1995; Katz 1997; Foran 1997b; Paige 1997).

В-третьих, при анализе как революций, так и социальных движений стало ясно, что многие из процессов, лежащих в основе революций — например, мобилизация масс, идеологические конфликты, конфронтация с властями — уже хорошо исследованы в ходе анализа общественных движений. Собственно, некоторые из наиболее массовых и радикальных социальных движений, которые приводили к серьезным изменениям в распределении власти, — такие как всемирное движение за права женщин, рабочее движение, движение за гражданские права в США — были революционными в отношении того риска, на который шли их активисты, и в отношении институциональной перестройки, вызванной их усилиями. Так, новая литература о «конфликтной политике» (*contentious politics*) пытается обобщить выводы из исследований о социальных движениях и о революциях с целью лучшего понимания обоих явлений (McAdam et al 1997; Goldstone 1998b; Hanagan et al 1998; Tarrow 1998; Aminzade et al 2001a; McAdam et al, готовится к печати).

Вследствие этой критики простейшая концепция революций, опирающаяся на понятия государства и классов, в том виде, в каком ее выдвигает Скочпол, представляется утратившей свое значение. Нашего внимания в качестве примеров революций требует обширный диапазон событий от фашистских, нацистских и коммунистических преобразований в первой половине XX в. до краха коммунистических режимов в его конце; от идеалистических революций в Америке и во Франции в конце XVIII в. до хаотических революционных войн в Африке в конце XX в. В двух недавних обзорах революций (Tilly 1993, Goldstone 1998c) перечисляются буквально сотни событий «революционного» характера. Тем не менее эти события имеют в своей основе общий набор элементов: а) попытки изменить политический режим, опирающиеся на конкурирующее представление (или представления) о справедливом строе; б) заметную степень неформальной либо формальной мобилизации масс; в) попытки форсировать перемены посредством таких неинституционализированных шагов, как массовые демонстрации, пикеты, забастовки или насильственные действия.

Путем сочетания этих элементов можно сформулировать более широкое и более современное определение революции: это попытка преобразовать политические институты и дать новое обоснование политической власти в обществе, сопровождаемая формальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинституционализированными действиями, которые подрывают существующую власть.



Это определение достаточно широко, чтобы под него попадали и такие относительно мирные революции, которые привели к свержению коммунистических режимов, и кровавая исламская революция в Афганистане. В то же время оно достаточно жесткое, чтобы исключить перевороты, мятежи, гражданские войны и восстания, не направленные на преобразование институтов или формулировку нового обоснования политической власти. Кроме того, оно исключает из числа революций и мирные переходы к демократии посредством таких институциональных мероприятий, как плебисциты и свободные выборы, что имело место в Испании после Франко.

### *Разновидности революций*

Одни революции отличаются своими героями, другие — своими последствиями. Революции, которые наряду с политическими институтами преобразуют экономические и социальные структуры — например, французская революция 1789 г. — называются великими; те, которые изменяют лишь политические институты, называются политическими революциями. Революции, связанные с независимыми выступлениями низших классов, получили название социальных революций (Skocpol 1979), в то время как широкомасштабные реформы, осуществляемые элитами, которые непосредственно управляют мобилизацией масс, иногда называются элитарными революциями или революциями сверху (Trimberger 1978). Революции, не приводящие к удержанию власти после временных побед или крупномасштабной мобилизации, называются неудавшимися; оппозиционные движения, либо не нацеленные на захват власти (крестьянские или пролетарские протесты), либо охватывающие конкретный регион или какую-то долю населения, обычно получают определение восстаний (если носят насильственный характер) или движений протеста (в случае преимущественно мирного характера). Несмотря на эти различия, все революционные события обладают аналогичной динамикой и чертами (McAdam et al, готовится к печати).

Для революций не всегда характерен один и тот же набор ключевых деятелей, да и развиваются они зачастую по-разному. Мобилизация масс может носить в первую очередь городской характер (как произошло в Иране и Восточной Европе), быть связанной с обширными крестьянскими восстаниями (Wolf 1969), либо включать организованную партизанскую войну. Хантингтон (Huntington 1969) указывал, что в крупных революциях проявляются по меньшей мере две четко различающихся модели мобилизации и развития событий. Если военная и большинство гражданских элит первоначально активно поддерживают правительство, народная мобилизация должна происходить на безопасной, нередко отдаленной базе. В ходе партизанской или гражданской войны, пока революционные вожди постепенно расширяют свой контроль над провинцией, им приходится привлекать на свою сторону народ в ожидании, пока не произойдет ослабление

режима — в результате таких событий, как военные поражения, то или иное ущемление национальной гордости и идентичности, либо же его собственные малоуправляемые репрессии или акты коррупции, лишающие режим поддержки отечественной элиты и зарубежных сил. В конце концов, если элита или армия изменяют режиму, революционное движение может перекинуться на города и захватить столицу. Революции такого типа, которые можно назвать периферийными, произошли на Кубе, во Вьетнаме, в Никарагуа, Заире, Афганистане и Мозамбике.

Противоположность им представляют революции, которые могут начаться с драматического краха режима в столице (Huntington 1968). Если отечественная элита стремится к реформированию или смене режима, она может пойти на поощрение или поощрение крупных народных демонстраций в столице и других городах, а затем лишит правительства своей поддержки, что приведет к неожиданному краху старого режима. В подобных случаях революционеры быстро берут власть, но затем им нужно распространить революцию на остальную часть страны, нередко посредством массового террора или гражданской войны с новыми региональными или национальными конкурентами либо остатками старого режима. Подобные революции — их можно назвать центральными — имели место во Франции, в России, Иране, на Филиппинах и в Индонезии.

Динамика мобилизации элиты и народа отличается той особенностью, что в ходе некоторых революций два этих типа мобилизации происходили не одновременно. Во время мексиканской и китайской революций старый режим сразу же был уничтожен в результате коллапса центрального типа, но режимы Уэргты и китайских националистов, которые первоначально консолидировали власть, в свою очередь не устояли перед периферийной мобилизацией.

Однако в ходе недавних событий проявилась третья модель революции — общий крах режима, наподобие того, какой произошел в тоталитарных государствах Восточной Европы и в Советском Союзе. В этих странах социалистический режим осуществлял жесткий контроль над сельским и городским обществом через партийный аппарат. Когда сочетание осуществляемых элитой реформаторских попыток, изменений в международной расстановке сил (экономические достижения капиталистических стран, мирные переговоры Советского Союза с США, открытие границ Венгрии, которое привело к повальной эмиграции из ГДР), а также массовых забастовок и демонстраций подорвало решительность коммунистических лидеров, весь национальный государственный аппарат стремительно развалился (Karklins 1994, Hough 1997, Lane & Ross 1999). Хотя в столицах порой происходили крупномасштабные столкновения (например, в Москве и Бухаресте), решающий шаг к победе в некоторых случаях сделали провинциальные рабочие — например, шахтеры в Советском Союзе и Югославии и рабочие гданьских верфей в Польше — жители нестоличных городов, например, восточно-германского Лейпцига, проводившие акции протеста. Благодаря этому революционным вождям,

взявшим власть в столице, не приходилось силой распространять революцию по всей стране; сам размах прежних тоталитарных режимов служил гарантией того, что их крах не будет сопровождаться сколько-нибудь массовым возникновением конкурирующих центров власти, за исключением центрбежных сил, таящихся среди руководства автономных провинций с преобладанием этнических меньшинств (Vunse 1999). Главной проблемой, вставшей перед новыми постсоциалистическими режимами, было не распространение революции, а скорее создание новых национальных институтов, которые могли бы обуздать активность частных, криминальных и бюрократических кругов, стремящихся заполнить вакуум власти (McFaul 1995, Stark & Bruszt 1998).

Еще одна типология основывается на руководящей идеологии революционных движений, проводя различие между «либеральными» или конституциональными революциями, которые преобладали в XVIII и XIX вв. и, похоже, снова нашли выражение в лице революций на Филиппинах и в Восточной Европе; коммунистическими революциями, широко распространенными в XX в.; и исламскими революциями — феноменом последней четверти XX в.

Как видно из этого краткого обзора, для полного понимания революций требуется принимать во внимание эластичность группировок в рамках элиты и в среде народа, процессы революционной мобилизации и лидерства, а также различные цели и результаты революционной деятельности и революционных событий. Если мы хотим создать теорию революции четвертого поколения, она должна учитывать все эти факторы. В последующих разделах рассматривается, что мы знаем (или думаем, что знаем) о причинах, динамике и последствиях революций, и увязываются в единое целое итоги таких зачастую несопоставимых подходов, как сравнительные ситуационные исследования, модели рационального выбора и количественно-статистический анализ.

## **Причины революций**

### *Система международных отношений*

Скочпол (Skocpol 1979) внесла важный вклад в теорию революции, указав на то влияние, которое международная военная и экономическая конкуренция оказывает на внутригосударственную стабильность. Военные затраты и экономические подвижки могут подорвать лояльность элиты и народа к правительству и привести финансы государства в плачевное состояние. Но это лишь первый шаг в понимании того, как международное положение может провоцировать революции и определять их развитие.

Порой имеет место распространение идеологических влияний через границы: революционное движение в одной стране своим примером и содержанием влияет на другие страны (Arjomand 1992, Colburn 1994, Katz 1997, Halliday 1999). Так, в истории можно проследить несколько

революционных волн, включая атлантические революции в США (1776), Голландии (1787) и Франции (1789), движимые антимонархическими настроениями; европейские революции 1848 г., движимые либерализмом; антиколониальные революции 1950–1970-х гг., движимые национализмом; коммунистические революции 1945–1979 гг. в Восточной Европе, Китае, на Кубе, во Вьетнаме и других развивающихся странах; арабские националистические революции на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 1952–1969 гг.; исламские революции в Иране, Судане и Афганистане; и антикоммунистические революции в Советском Союзе и Восточной Европе. В рамках каждой из этих волн влияние других стран стало одним из важнейших факторов, определяющих исход и направление революционного движения (Johnson 1993, Katz 1997, Boswell & Chase-Dunn 2000).

Непосредственное военное и дипломатическое вмешательство других стран также может приводить к революциям, хотя те зачастую проходят совсем не так, как желают их зарубежные инспираторы. Вмешательство Советского Союза не смогло одолеть исламскую революцию в Афганистане, а вмешательство Соединенных Штатов не только не предотвратило, но, вероятно, вследствие поддержки ими предреволюционных режимов способствовало радикализации революций на Кубе, в Никарагуа, Вьетнаме и Иране (Wickham-Crowley 1992, Halliday 1999, Snyder 1999, Pastor 2001). С другой стороны, американское вмешательство помешало довести до конца неудачную революцию Моссадыка 1953 г. в Иране, а советская поддержка способствовала победе марксистских революций по всему земному шару.

Общее правило Халлидея (Halliday 1999) гласит: «не вмешивайся в революцию». Вследствие своей способности мобилизовать крупные массы населения на противостояние (Skospol 1994) революции оказываются чрезвычайно устойчивыми перед лицом внешней интервенции после того как они уже мобилизовали всю нацию. Для того чтобы сорвать революцию путем интервенции, последняя, как правило, должна происходить до мобилизации масс революционным движением. Однако, если революционное движение и режим находятся в состоянии пата, внешняя дипломатическая интервенция может сыграть решающую роль в достижении мирного решения, что произошло в Никарагуа в 1990 г. и в Зимбабве в 1979 г. (Shugart 2001).

В некоторых случаях именно отсутствие вмешательства либо отказ (или угроза отказа) от поддержки правящего режима способствуют росту революционного движения. Голдфранк (Goldfrank 1979) и другие исследователи (Goodwin & Skospol 1989, Wickham-Crowley 1992) называют это состояние разрешающим или благоприятным международным контекстом. Вовлечение США в Первую мировую войну создало условия для распространения мексиканского революционного движения; истощение европейских государств и поражение Японии привело к многочисленным антиколониальным революциям после Второй мировой войны; озабоченность США глобальной ситуацией с правами человека в правление президента Картера создала впечатление, что Америка уже не так

решительно поддерживает иранского шаха и режим Сомосы в Никарагуа; а снижение напряженности в отношениях между США и Советским Союзом при Горбачеве предоставило диссидентам, пролетариату и горожанам возможность испытать коммунистическую власть на прочность.

Проводником международного влияния на судьбы революции также служат международная торговая сеть и деятельность транснациональных организаций и объединений. Исследователи выяснили, что при определенных внутренних условиях в странах, занимающих неблагоприятную торговую позицию в мировой экономике, резко возрастает вероятность восстаний (Boswell & Dixon 1990, Jenkins & Schock 1992). Кроме того, валютные кризисы и политика, проводимая Международным валютным фондом, могут поставить правительство страны в трудное положение и привести к резкому росту цен, что порой провоцирует население на протестные насильственные акции (Walton 1989, Walton & Ragin 1990, Boswell & Dixon 1993, Walton & Seddon 1994). Хельсинкское соглашение по правам человека, несомненно, поощряло диссидентские движения в европейских странах с коммунистическими режимами (Stokes 1993). Однако в то же время при всех прочих равных общий высокий уровень участия в международной торговле и в международных региональных альянсах после Второй мировой войны для любой стороны мира снижает риск государственного коллапса (Goldstone et al 2001). Очевидно, что высокий уровень экономического и дипломатического взаимодействия с внешним миром в той или иной мере сдерживает внутреннюю конкуренцию и конфликты. Напротив, как правило, наиболее свирепая борьба за государственную власть, нередко принимающая характер геноцида, наблюдалась в небольших, сравнительно изолированных странах — таких как Руанда и Камбоджа (Harff 1991, 1995).

#### *Взаимоотношения между государством, элитами и группами населения*

Хотя международное окружение может разнообразными способами повышать или снижать риск революции, его конкретное воздействие, так же, как общая вероятность революции, определяются в первую очередь внутренними отношениями между государственной властью, различными элитами и различными группами населения (крестьянами, рабочими и региональными либо этническими или религиозными меньшинствами). В наше время стал общим местом, но достоин повторения вывод о том, что здравые в военном и фискальном отношении государства, пользующиеся поддержкой сплоченной элиты, в целом неуязвимы для революций снизу. Обнищание народа и массовое недовольство ведут лишь к пессимизму, пассивному сопротивлению и депрессии, если только обстоятельства, переживаемые государством и элитой, не внушают мысль о том, что вполне реально добиться перемен (Scott 1985, 1990).

Скочпол (Skocpol 1979) формулирует компактный набор структурных условий, от которых зависит уязвимость государства перед социальной

революцией: автономные элиты способны воспрепятствовать действиям государства, а крестьянские общины способны оказывать независимое сопротивление власти землевладельцев. Однако внимательное изучение работы Скочпол демонстрирует, что эти условия не вполне выполняются даже в приводимых ею примерах (Nichols 1986, Sewell 1996, Goldstone 1997a, Mahoney 1999). Российские элиты в 1917 г. были явно неспособны блокировать действия царя и получили возможность действовать лишь вследствие сокрушительного поражения, нанесенного Германией царской армии во время Первой мировой войны. Китайские крестьяне после подавления Тайпинского восстания в середине XIX в. находились под жестким контролем со стороны помещиков и не играли существенной роли в республиканской и националистической революциях начала XX в. Лишь будучи организовано и мобилизовано Китайской коммунистической партией, крестьянство смогло сыграть революционную роль. Кроме того, Скочпол недооценивает роль рабочих в русской революции 1917 г. (Bonnell 1983); так, в ее модели упускается из вида колоссальное влияние протестного движения рабочих и студентов на развитие таких событий, как иранская, никарагуанская, филиппинская революции, а также Великая культурная революция и восстание на площади Тяньаньмынь в Китае (Farhi 1990, Wasserstrom & Perry 1994, Calhoun 1994b, Perry & Li 1997, Parsa 2000). Хотя эти вопросы свидетельствуют о слабости упрощенного структурализма Скочпол, ее подход, как и безусловная масштабность ее общего анализа, способствовали более глубокому пониманию того, каким образом подвиги во взаимоотношениях государства, элиты и народа ведут к краху государственности и к смене власти.

Во-первых, из многих исследований ясно следует, что политическая стабильность и перемены определяются не только конфликтом государства с элитой и даже не обязательно автономным положением элиты. Скорее, все зависит от того а) обладает ли государство достаточными финансовыми и культурными ресурсами, чтобы решить поставленные перед собой задачи, выполнение которых ожидается от него элитами и группами населения, б) являются ли элиты более-менее едиными или, наоборот, сильно расколотыми или поляризованными, в) связывает ли протест оппозиционную элиту с народными группами.

Задачи, поставленные перед собой правителями, чрезвычайно различаются от государства к государству. Крупные державы могут питать имперские амбиции, в то время как малые страны часто стремятся лишь к тому, чтобы жить в мире. Режимы личной власти нуждаются в гибких ресурсах для поддержания системы обширного патронажа; демократическим государствам приходится контролировать партийное противоборство и при этом сохранять эффективную бюрократическую и судебную власть. От традиционных монархий элита и народные группы ожидали немногого — соблюдать обычаи при сборе налогов и предоставлять членам элиты и их семьям возможность сохранять свое положение. Однако перед государством в современных развивающихся странах ставится задача обес-



печивать экономический рост и выступать посредником в борьбе этнических и региональных групп за ресурсы. Кроме того, почти все государства обязаны хранить национальную гордость и традиции; современные государства вынуждены реализовывать националистические амбиции доминирующих этнических групп по созданию такой власти, которая бы воплощала и защищала их своеобразие (Goodwin & Skocpol 1989, Tilly 1993).

Кроме того, государства обладают различными ресурсами, чтобы, опираясь на них, воплощать эти цели и ожидания. Внутренние поступления в форме налогов и разработки естественных ресурсов могут дополняться иностранной помощью и прямыми зарубежными инвестициями. Государство может брать займы и продавать либо закладывать ресурсы в расчете на будущее увеличение налогов или иные поступления. Некоторые государства также получают доходы от национализированных предприятий — хотя последние часто не в состоянии принести предполагаемую прибыль.

Неприятности начинаются тогда, когда доходов не хватает для покрытия государственных расходов — либо из-за расширения задач государства, либо из-за снижения поступлений. Вариантов возникновения этой проблемы столько, что их краткое перечисление нереально. К напряжению государственных ресурсов могут привести сверхамбициозные военные авантюры и экономические начинания; то же происходит из-за неспособности привести доходы в соответствие с темпом инфляции или ростом населения страны. Переоценка будущих доходов часто ведет к непомерным долгам; свою роль может сыграть коррупция, мешающая полезному расходованию фондов и опустошающая государственную казну. Фискальная мощь государства может быть постепенно подорвана небольшим, но растущим дефицитом; военные поражения либо противоборство с элитой по фискальным вопросам грозят утратой фискального контроля и либо неудержимой инфляцией, либо внезапным банкротством государства. В некоторых случаях на экономический рост и государственные доходы негативное влияние может оказать изменение цен в важнейших отраслях экономики. Таким образом, симптомы фискального нездоровья варьируются от медленного истощения государственного кредита до раздувания госдолга, стремительной ценовой инфляции, военной несостоятельности, непредвиденного дефицита и банкротств.

Тем не менее государства редко осуществляют столь полный контроль над общественными ресурсами, что не могут справиться с угрозой, если элиты объединят свои усилия и резервы с целью реорганизации государства. Угроза революции возникает тогда, когда в условиях фискальной слабости элиты не желают поддерживать режим либо одолеваемы разногласиями по поводу того, делать ли это, а если да, то как.

Подобное нежелание может быть связано с финансовыми проблемами самих элит. Элиты, пытающиеся сохранить свое богатство или считающие себя ограбленными несправедливым и самовластным правителем, не склонны поддерживать слабый и нуждающийся режим. Кроме того, элита может быть обижена своим отстранением от власти или поку-



шениями на ее привилегии и положение. Но столь же часто лояльность элиты (и населения) утрачивается государством из-за разбазаривания культурных ресурсов или пренебрежения ими.

Правителям приходится действовать в культурных рамках, включающих религиозные верования, националистические чаяния и представления о справедливости и статусе. Те власти, которые нарушают эти рамки, подвергают себя опасности. Правители, торгующие местами или назначающие фаворитов на высокопоставленные должности, тем самым завоевывают их лояльность, но одновременно пробуждают негодование в обойденных. Правители, стремящиеся уничтожить традиционные религиозные и культурные обычаи, должны позаботиться о сильной военной и бюрократической поддержке, чтобы справиться с неизбежными протестами со стороны народа и элиты (Oberschall & Kim 1996). Правители, теряющие лицо в военных или дипломатических конфликтах, или выказывающие чрезмерную зависимость от прихотей иностранных держав, могут утратить веру и поддержку своих народов. Борьба пуритан и католиков в Англии XVII в., янсенистские конфликты в предреволюционной Франции, оглушительные военные поражения царской России и конфликты по поводу вестернизации в Иране — все это примеры того, как власти покушались на культурные или националистические представления, расплачиваясь за это утратой поддержки со стороны элиты и народа (Skocpol 1979, Hunt 1983, Arjomand 1988, Van Kley 1996). В России, где культурные нормы допускали существование авторитарных режимов, но взамен требовали отеческой заботы государства о народе, вопиющее невнимание к простым людям, проявившееся во время Кровавого воскресенья, лишило царя народной поддержки. Те же самые культурные нормы способствовали существованию Советского Союза до тех пор, пока негибкая реакция Коммунистической партии на ядерную катастрофу в Чернобыле и на другие проблемы здравоохранения и благосостояния не привела к аналогичному отчуждению населения.

Одновременную необходимость справляться с задачами государства и учитывать культурную ситуацию можно выразить в двух словах: эффективность и справедливость. Те государства и правители, которые получили репутацию неэффективных, все же могут заручиться поддержкой элиты в деле реформирования и реорганизации, если они считаются справедливыми. Правителей, считающихся несправедливыми, могут терпеть до тех пор, пока им эффективно удастся преследовать экономические или националистические цели, или же они кажутся слишком эффективными, чтобы кто-либо осмелился бросить им вызов. Однако государства, считающиеся и неэффективными, и несправедливыми, лишатся поддержки элиты и народа, которая им нужна для выживания.

Три социальных изменения или условия, не являясь ни необходимыми, ни достаточными для революции, тем не менее столь часто подрывают и эффективность, и справедливость государства, что заслуживают особого рассмотрения. Во-первых, это поражение в войне — или хотя бы

перенапряжение, возникающее, когда государство ставит перед собой военные задачи, превышающие его финансовые и организационные возможности. Военное поражение может привести к финансовому и бюрократическому беспорядку вследствие потери людей и ресурсов, либо растраченных, либо захваченных врагом, или вследствие репараций. Поражение также может нанести ущерб национальной гордости, а повышение налогов и ресурсов, отнимаемых у населения ради ведения войны, может превзойти все представления о разумности и справедливости. Особенно пагубной оказывается потеря жизней и ресурсов проигравшей стороной. Буэно де Мескита и др. (Bueno de Mesquita et al, 1992) не усматривают существенных связей между войной и последующей революцией, но считают, что такая связь гораздо ярче выражена в тех странах, которые развязали войны и проиграли их. Именно это сочетание приводит к сильнейшей одновременной потере государства как своей эффективности, так и культурного положения.

Во-вторых, непрерывный рост населения, превышающий экономический рост, нередко изменяет отношения между государством, элитами и группами населения, тем самым подрывая стабильность общества. Если повышение спроса приводит к инфляции, реальные доходы государства падают до тех пор, пока не поднимутся налоги; но эта мера может считаться крайне неразумной в условиях, когда во владении крестьян остается все меньше земли, а рабочим становится труднее найти работу и заработная плата снижается вследствие усиления конкуренции за рабочие места и ресурсы. Городское население может расти непропорционально быстро — быстрее, чем городская администрация в состоянии обеспечить жилищные, медицинские и полицейские услуги — если сельскохозяйственный сектор не в состоянии поглотить прирост населения. Более того, если цена на землю или иные дефицитные ресурсы повышается, те элиты или претенденты на роль элиты, которые контролируют эти ресурсы, выиграют непропорционально много в сравнении с другими элитами, что подорвет нормальный процесс рекрутирования элиты и социальной мобильности. Если государство стремится собирать все больше налогов одновременно с тем, как жилищные условия населения ухудшаются, и если существующая иерархия элит и механизмы их мобильности расстроены, в то время как государство требует себе все больше ресурсов или все больше власти, то представления об эффективности и справедливости государства могут быть серьезно подорваны. Хотя некоторые государства могут найти способ — посредством экономического роста либо уступок элитам — справиться с быстрым ростом населения, неудивительно, что революции и восстания получают исключительное распространение в те эпохи, когда население растет чрезвычайно быстро — что происходило, например, в конце XVI и начале XVII вв., в конце XVIII и начале XIX вв., и в некоторых частях развивающегося мира в XX в. (Goldstone 1991, 1997b).

В-третьих, колониальные режимы и диктатуры сильной личности особенно подвержены таким двойным ошибкам, которые ведут к революции.

Колониальные режимы по своей природе противостоят националистическим чаяниям и стремлению местных элит к власти. Сохраняя эффективность, они порой способны к кооптации местных элит; однако, если между колониальным режимом и местными элитами, пользующимися потенциальной народной поддержкой, изменится баланс силы, колониальные режимы погрязнут в революционном противоборстве. Аналогичным образом диктатуры сильной личности, допускающие к дележу плодов власти лишь ничтожную долю элиты, в глазах элиты выглядят куда менее «справедливыми», нежели авторитарные режимы с более широкой опорой, такие как военные хунты или режимы с четкой этнической, региональной или классовой основой. Режимы сильной личности могут обеспечивать себе опору либо обещаниями исключительных националистических достижений, либо безжалостно и эффективно управляя внутренними делами. Однако экономические неудачи, утрата иностранной поддержки или неспособность оправдать националистические чаяния вследствие коррупции либо чрезмерного подчинения иностранным державам могут нанести смертельный удар по их эффективности и привести к созданию мультиклассовой коалиции, направленной против узкой базы такого режима (Goodwin & Skocpol 1989, Wickham-Crowley 1992, Goldstone 1994a, Goodwin 1994b, Foran 1997b, Snyder 1998).

Леви (Levi 1997), используя модели рационального выбора для анализа политического поведения, демонстрирует, каким образом нарушение государством норм честности ведет к «отказу от послушания», подрывающему власть. Более чем 60 годами ранее историк Крейн Бринтон (Brinton 1938) обратил внимание на ситуации, когда элиты отказывали в своей поддержке режиму непосредственно перед началом революции, объявляя его аморальным и неэффективным, и назвал такое поведение «дезертирством интеллектуалов». Но какие бы ярлыки ни навешивать, любой набор обстоятельств, который ведет к потере государством в глазах общества эффективности и справедливости, приводит к предательству элит и утрате народной поддержки, что представляет собой ключевой элемент в причинной цепи событий, ведущих к революции.

Теория элиты и сравнительный исторический анализ породили многочисленные ситуационные исследования, в которых крушение государства объясняется расколом элиты и ее отказом от сотрудничества с режимом (Kileff & Robinson 1986, Arjomand 1988, Higley & Burton 1989, Wickham-Crowley 1989, Bunce 1989, Paige 1989, Goldstone 1991, Goldstone et al 1991, Bearman 1993, Haggard & Kaufman 1995, DeFronzo 1996, Hough 1997, Lachmann 1997, Dogan & Higley 1998, Snyder 1998, Parsa 2000). Напротив, во многих случаях стабильность государства обеспечивалась путем насилия, ставшего возможным благодаря заключению союза с элитой (O'Donnell et al 1986, Burton & Higley 1987, Higley & Gunther 1992, Shugart 2001).

Однако одного лишь раскола в элите недостаточно, чтобы породить нестабильность. Сильно фрагментированные и раздробленные элиты зачастую неспособны противодействовать сильному авторитарному

лидеру. Существенное условие политического кризиса — не только раскол в элите, но и ее поляризованность, т. е. наличие двух или трех сплоченных группировок, резко различающихся по своим представлениям о структуре нового социального порядка (Green 1984, Eisenstadt 1999).

Конечно, даже если элиты расколоты и находятся в острой оппозиции к государству, результатом может стать простой переворот (Jenkins & Krosowa 1990) или реформы. Для возникновения революционной ситуации необходима еще и мобилизация масс. Она может быть традиционной, неформальной, проводящейся под руководством элиты или же представлять собой то или иное сочетание этих вариантов.

Традиционная мобилизация происходит в контексте местных общин, с которыми индивидуумы связаны узами давней преданности — такими общинами являются, например, крестьянские деревни либо городские ремесленные гильдии (Magagna 1991). Крестьянская мобилизация, которую зачастую провоцируют какие-либо вести о политических изменениях, например, планы государственных реформ, выборы или известия, а то и просто слухи о войне или местных сражениях (как показал Маркофф (Markoff 1996) на примере французской революции 1789 года), обычно носит оборонительный и даже реакционный характер, а ее цель — привлечь внимание к экономическим неурядицам или к чрезмерному налогообложению. Непосредственные нападения на землевладельцев происходят реже и обычно вызываются известиями об опасности, грозящей государственной власти, или об ее крахе. Мобилизация такого типа может происходить и в городах посредством традиционных рабочих гильдий или религиозных общин, также зачастую имея оборонительные и консервативные цели (Calhoun 1983).

Неформальная мобилизация происходит в тех случаях, когда индивидуумы принимают решение участвовать в протестных действиях не через общинные организации, с которыми их связывают давние формальные отношения, а через рыхлые структуры, основанные на личной дружбе, общем месте работы или соседстве. Такие неформальные организации обычно возникают в ответ на кризис, после чего соседи или друзья мобилизуют себя на неконвенциональные действия. Гулд (Gould 1995) продемонстрировал роль соседских связей в мобилизации народа во время Французской коммуны 1870 г.; Опп и др. (Opp et al 1995) и Пфафф (Pfaff 1996) выяснили, что неформальные организации стояли за спиной «стихийных» лейпцигских демонстраций, которые привели к краху восточногерманского коммунистического режима; Дено (Denoeux 1993) подробно анализирует роль, сыгранную неформальными связями в городском протестном движении Средних веков. Тесные связи и дружба между студентами способствовали мобилизации молодежи во время Тяньаньмыньского восстания в Китае (Zhao 2001) и во время революций 1979 г. в Иране и 1986 г. на Филиппинах (Parsa 2000).

Традиционные и неформальные организации не являются революционными по своей природе и обычно ведут лишь к неудачным сель-

ским восстаниям и городским протестным акциям. Они играют серьезную роль в создании революционной ситуации только в том случае, когда налаживают связь с элитой, противостоящей режиму. В некоторых случаях — таких как крестьянские восстания во время французской и русской революций и ирландские мятежи 1640 г. — их роль сводится к тому, что напуганные ими власти предпринимают радикальные шаги, вынуждая элиту покончить с колебаниями и перейти к решительным действиям. В других случаях диссидентствующие элиты оказывались во главе народных восстаний, объединяя разнородные местные движения и наделяя их общей целью и единством. Именно так большевики возглавили пролетарские выступления в 1917 г., а радикальный духовный вождь Аятолла Хомейни — протестные акции иранцев на базарах и в медресе.

Третий способ, каким элиты могут войти в контакт с мобилизацией народа — создание организаций, через которые осуществляется эта мобилизация, и управление ими. Хотя было бы чрезмерной натяжкой утверждать, что коммунистическая партия полностью контролировала крестьянские восстания в Китае в 1940-х гг., тем не менее китайская компартия играла ключевую роль в перераспределении земель, борьбе с влиянием помещиков и организации вооруженной борьбы с националистическим режимом (Friedman et al 1991, Selden 1995). В Латинской Америке 1970-х гг., в первую очередь в Никарагуа, священники, возглавлявшие христианские общины, осуществляли мобилизацию оппозиции против существующих экономических и политических режимов (Levine & Manwaring 1989, Van Vugt 1991). В то же время радикальные студенты и политики, вдохновляясь примером Фиделя Кастро на Кубе, пытались мобилизовать латиноамериканское крестьянство посредством коммунистических партизанских движений (Wickham-Crowley 1992). В 1980-е гг. церковные руководители в Польше, на Филиппинах и в ГДР сыграли решающую роль в налаживании формальных и неформальных связей между рабочими и интеллигенцией, оппозиционными режиму (Osa 1997, Parsa 2000, Stokes 1993).

Конечно, элиты могут сыграть и антимобилизующую роль. Трауготт (Traugott 1985) показал, что революционные парижские рабочие, сражавшиеся на баррикадах в 1848 г., и посланные на борьбу с ними национальные гвардейцы, также набранные из парижских рабочих, почти не различались ни уровнем дохода, ни профессиями. Различие состояло почти исключительно в их мобилизационном опыте: мобилизация восставших шла через соседские связи и место работы, в то время как бойцов Национальной гвардии мобилизовала парижская буржуазия для защиты своей собственной, вовсе не пролетарской революции от короля. Вообще мобилизация, как правило, носит конкурентный характер — различные революционные и контрреволюционные организации одновременно стремятся сплотить своих сторонников, нередко в самых хаотических обстоятельствах. Хотя задним числом иногда удается настолько четко выделить какую-либо из мобилизующих групп и ее сторонников, что направление и размах мобилизации кажутся неизбежными, в действительности такое

происходит редко. Более распространенный вариант — когда победоносная революционная мобилизация является плодом борьбы за сторонников, в которую вовлечены многочисленные союзники и конкуренты (Meyer & Staggenborg 1996, Glenn 1999).

Учитывая столь обширный диапазон способов народной организации, непросто предсказать форму или направление массовой мобилизации, исходя из одних только структурных факторов. Несмотря на наличие многочисленной литературы об участии крестьян в революциях (Wolf 1969, Migdal 1974, Paige 1975, Scott 1976, Popkin 1979, Wickham-Crowley 1991, Skocpol 1994), и непрекращающуюся дискуссию о значении неравенства как генератора революционных волнений (Muller 1985, Midlarsky 1986, Muller & Seligson 1987, Weede 1987, Lichbach 1989, Midlarsky 1999), единого мнения по этому вопросу по-прежнему не существует. Как указывает Замош (Zamosc 1989), крестьяне, судя по всему, не отличаются ни врожденным консерватизмом, ни революционностью; скорее можно сказать, что их чаяния принимают различную форму в зависимости от ответа государства и элиты и тех союзов, которые вступают с ними в противоборство. Опыт позволяет сделать единственный несомненный вывод: революции оказываются успешными лишь тогда, когда налицо какая-либо связь или союз между народной мобилизацией и выступлениями элиты против режима (Liu 1984, Dix 1983, Goodwin & Skocpol 1989, Eckstein 1989a, Aya 1990, Farhi 1990, Goldstone et al 1991, Wickham-Crowley 1992, Foran 1997b, Paige 1997).

### **Революционный процесс: связи, идеология, лидерство, гендерные вопросы Связи, организации и идентичности**

Многосторонняя, конкурентная и случайная природа революционной мобилизации заставляет исследователей уделять намного больше внимания процессу развития революции. Из структурных условий может складываться сцена, на которой разворачивается конфликт, но форма и исход борьбы нередко определяются лишь в ходе самого революционного конфликта. Каким образом элиты могут быть связаны с народными протестными движениями? Как индивидуумы объединяются ради коллективных действий, нередко рискуя навлечь на себя репрессии и даже смерть? Как из всевозможных групп с различными интересами возникают широкие коалиции? И каким образом на сцену выходят конкретные вожди и группировки, руководящие революцией и направляющие ее течение? На эти вопросы можно ответить, лишь обратив внимание на организационные, идеологические и стратегические элементы революционных действий.

Один из важнейших выводов в этой области состоит в том, что действующие лица революции никогда ничего не делают в одиночку — ни в реальности, ни даже мысленно. Их рекрутирование осуществляется посредством заранее существующих связей на основе места жительства, занятия, принадлежности к общине и дружбы. К действию их побуждают организации, начиная от маленьких и неформальных групп активи-



стов, таких как группа «Хартия-77», сыгравшая свою роль в чехословацкой революции, и заканчивая высоко дисциплинированными, централизованными и бюрократизированными революционными партиями наподобие китайской компартии или КПСС. Они отождествляют себя с более широкими задачами и группами и приносят жертвы во их имя (Cohen 1985; Calhoun 1994 a, c; Somers & Gibson 1994).

В этом отношении они больше похожи на участников обыденных движений социального протеста. Исследователи общественных движений в демократических обществах выяснили, что индивидуумы рекрутируются в эти движения благодаря своему членству в группах и дружбе с людьми, уже вовлеченными в движение (Snow et al 1980, McPherson et al 1992, McAdam 1995). Идет ли речь о студенческом или феминистском движении либо о движении за гражданские права, общим показателем успешного активизма является вклад участников в идентичность протестующей группы и выбор своих действий путем учета тех плюсов и минусов, которые они принесут движению в целом (Morris 1984, Hirsch 1990, Taylor & Whittier 1992).

Однако идентичности здесь не являются природными — особенно протестные идентичности (Abrams & Hogg 1990). Чтобы создать и сохранять идентичности, связанные с революционной деятельностью, элитам и государствам приходится придумывать и закреплять новые обозначения для людей, которые обычно считают себя всего лишь рабочими или крестьянами, друзьями или соседями. Вывод определенных идентичностей на передний план, то есть, в сущности, создание протестной идентичности — под которой подразумевается ощущение принадлежности к группе, негодование которой разделяешь и оправдываешь, плюс уверенность в способности устранить причину этого негодования посредством коллективных действий — представляет собой весьма непростую задачу (Snow et al 1986, Snow & Benford 1988).

В течение многих лет теоретики ресурсной мобилизации указывали, что мобилизация людей на коллективные действия связана с построением таких организаций, как союзы, революционные партии и низовые ячейки, наподобие Национальной организации женщин или Южной христианской конференции лидерства (McCarthy & Zald 1977, Tilly 1978). Считалось, что такие «организации социальных движений» представляют собой ядро долгосрочных коллективных акций. Однако недавние исследования процессов рекрутирования и опыт самих участников движений свидетельствуют, что формальная организация — ни необходимое, ни достаточное условие для появления чувства преданности общему делу и энергии, необходимой для рискованных коллективных действий (McAdam 1988, Calhoun 1994b, Gould 1995, Pfaff 1996). Напротив, важнейшим условием представляется формирование протестных идентичностей. Хотя формальные организации нередко помогают избрать тактику протеста и не дают угаснуть движению в трудные времена, неформальные организации — что проявилось в ходе революций 1989–1991 гг. в Восточной



Европе — также могут объединять людей на крупномасштабные, рискованные и эффективные выступления против государственной власти.

По-видимому, протестная идентичность — чувство привязанности и преданности к протестной группе — имеет в своей основе три источника. Во-первых, принадлежность к группе в значительной степени оправдывает и легитимизирует недовольство и гнев отдельных лиц, вызванные существующим порядком. Во-вторых, группа — если она обеспечивает конкретные выгоды либо предпринимает результативные действия, защищая своих членов и добываясь перемен — наполняет своих участников чувством силы, независимости и эффективности, тем самым завоевывая их коллективную приверженность (Knoke 1988, Lawler 1992). В-третьих, само государство может создать или укрепить чувство оппозиционной идентичности, назвав какую-либо группу своим врагом либо предприняв действия против этой группы, тем самым продемонстрировав, что та не может рассчитывать на защиту и справедливость государства. В результате она остается в глазах своих членов единственным источником справедливости и защиты. Иными словами, протестная группа вербует сторонников, провозглашая себя носителем тех качеств, которые ожидаются от государства, а именно справедливости и эффективности.

В сущности, именно из-за того, что протестная группа выполняет эти функции так, как не удается государству, или по видимости лучше, чем государство, индивидуумы готовы обменять свою верность государству на верность протестной или революционной группе (Finkel et al 1989). В некоторых случаях революционное движение буквально становится государством в районах, находящихся под его контролем — такую роль взяли на себя коммунистическая партия в сельском Китае в 1940-х гг. и многие партизанские движения в Латинской Америке, выполняя функции поддержания правопорядка, правосудия и даже сбора налогов (Wickham-Crowley 1991, Selden 1995, McClintock 1998). В иных случаях революционное движение завоевывает приверженцев, легитимизируя недовольство и чаяния своих членов через ритуалы солидарности и предпринимая против государства действия, которые могут иметь в основном символический характер (Melucci 1989).

Однако в любом случае создание и сохранение протестных идентичностей представляет собой серьезную задачу, опирающуюся на культурные рамки, идеологию и талантливое лидерство.

### *Идеология и культурные рамки*

Представление о неэффективности и несправедливости государства, в то время как оппозиционное революционное движение обладает массой достоинств и умеет добиваться своих целей, лишь в редких случаях является прямым следствием структурных условий (Gamson 1988, Gamson & Meyer 1996). Нужно, чтобы материальные лишения и угрозы рассматривались не просто как тяжелые жизненные условия, а как непо-

средственный результат несправедливости, нравственных и политических недостатков государства, в резком контрасте к добродетельности и справедливости оппозиции (Martin et al 1990). Даже военное поражение, голод или финансовый коллапс могут восприниматься как природные или неизбежные катастрофы, нежели как итог работы некомпетентного или нравственно обанкротившегося режима. Аналогичным образом акты государственных репрессий против протестантов могут считаться либо необходимыми мерами умиротворения, либо, напротив, неоправданной жестокостью; похищения, поджоги и взрывы порой воспринимаются как достойные порицания и трусливые террористические акты, а порой — как патриотические подвиги ради освобождения угнетенных. Какая интерпретация преобладает, зависит от способности государства и революционных лидеров манипулировать представлениями общества, увязывая свои поступки и текущую ситуацию с существующими культурными рамками и тщательно сконструированными идеологиями (DeNardo 1985, Chong 1991, Berejikian 1992).

Исследователи революций пользуются термином «культурные рамки» для обозначения фоновых предположений, ценностей, мифов, сюжетов и символов, издавна и широко распространенных среди населения. Естественно, культурные рамки элиты и разных групп населения могут не совпадать друг с другом, так же как и культурные рамки различных региональных, этнических и профессиональных групп. Таким образом, вместо однородного набора представлений мы имеем набор более-менее перекрывающих друг друга рамок. Напротив, под идеологиями понимаются сознательно сконструированные, пусть эклектичные, но более связанные представления, аргументы и ценностные суждения, которые поощряются теми, кто проповедует конкретный курс действий. В начале XX в. германские культурные рамки включали в себя христианство, германский патриотизм и веру в добродетельность франкских племен и первопроходцев, покоривших леса Центральной Европы; напротив, нацизм являлся идеологией (Skocpol 1994).

Как показывает этот пример, наиболее эффективны те идеологии, которые коренятся в преобладающих культурных рамках, заимствуя старые сюжеты и образы и переформулируя их так, чтобы они звучали в унисон с проблемами современности (Nash 1989, Shin 1996). Китайские коммунисты первоначально увязывали свои претензии на власть в Китае с восстановлением патриархального порядка традиционной китайской семьи, разрушенного экономическим хаосом и военными поражениями, которые Китай испытал при националистическом режиме (Stacey 1983). Точно так же и вьетнамские коммунисты не могли добиться успеха до тех пор, пока не учли в своих лозунгах этнический вьетнамский контент и культурную тематику (Popkin 1988).

Фоган (Fogan 1997b) указывает, что невозможно осуществить революцию, не опираясь на «культуру восстания», которую создают отложившиеся в народной памяти прежние конфликты. Например, сандини-

стское движение 1970-х гг. в Никарагуа позаимствовало свое название и репутацию у крестьянского вожака Сандино, который в начале века боролся против американского господства в этой стране. Аналогичным образом сапатистское восстание 1990-х гг. в мексиканском Чьяпасе было названо в честь Сапаты — крестьянского вождя мексиканской революции 1910 г. — и отождествляло с ним свои идеалы. Однако из этих примеров не следует, что лишь те страны, которые активно помнят восстания в своем недавнем прошлом, обладают культурной основой для новых восстаний. Организаторы революций с большим успехом отыскивают культурные основания для бунта в далеком прошлом, даже в воображаемом прошлом или будущем. С целью обеспечить народную поддержку мексиканской революции были позаимствованы и переформулированы милленаристские верования, восходящие к легендам американских индейцев; некоторые революционные образы китайских коммунистов также основывались на милленаристских верованиях китайских буддистских сект (Rinehart 1997). Во время английской революции 1640 г. царевичи опирались на миф о нормандском иге (хотя сами происходили из древних нормандских родов), согласно которому английские короли, линия которых восходила к завоеванию Англии в 1066 г. Вильгельмом Нормандским, считалась иностранными угнетателями, поработившими свободных англосаксов. Восставая против испанцев в XVI и XVII вв., голландцы объявляли себя потомками древних племен гелльветов, которые боролись против власти Римской империи; любопытно, что французские революционеры любили отождествлять себя с римлянами — основателями Республики и с их борьбой против царей Тарквиниев.

Основой для революционной либо антиреволюционной идеологии могут стать любые культурные рамки. Христианство и ислам долгое время служили бастионом консервативных официальных церковных организаций; но в последние годы исламские фундаменталисты и низовые христианские общины приобрели репутацию не меньших радикалов, чем английские пуритане XVII в. Коммунизм представлял собой то революционную идеологию, то опору для консервативной и привилегированной элиты, которая в конце концов была свергнута либералами-интеллектуалами и националистически настроенными рабочими. Похоже, что вероятность возникновения революционной идеологии в данных культурных рамках зависит исключительно от того, как элементы этих рамок приспособляются к конкретным обстоятельствам или сочетаются с новыми элементами и берутся на вооружение конкретными группами.

Идеологии, помимо того, что обеспечивают революционерам ценностные суждения и добродетельную репутацию, могут усиливать революционный импульс двумя другими способами. Во-первых, революционная идеология обычно объявляет борьбу обреченной на успех; привлечь на свою сторону историю или Бога — значит обеспечить триумф своих последователей (Martin et al 1990). Во-вторых, революционные идеологии имеют своей целью навести мосты между различными культурными

ми рамками всевозможных групп и обеспечить основу для мультигрупповых и межклассовых коалиций, что крайне важно для того, чтобы бросить вызов государственной власти (Chong 1993). Эти функции взаимно усиливают друг друга. После того как революционная группа притянула к себе широкий круг последователей, она начинает казаться обреченной на успех; в то же время чем более вероятным представляется успех движения, тем больше сторонников оно привлечет.

Конструирование идеологии, которая должна: а) вдохновлять широкие круги сторонников, переключаясь с существующими культурными вежами, б) обеспечивать ощущение неизбежности и обреченности ее сторонников на успех, в) убеждать людей, что существующая власть слаба и несправедлива — задача непростая. Не менее сложными предприятиями оказываются планирование стратегической и тактической кампании, проводимой оппозицией, а также умелая эксплуатация спонтанных восстаний и случайных событий. Таким образом, течение и исход революции в значительной степени зависят от мастерства и поступков вождей государства и революционных лидеров.

### *Лидерство*

Популярные рассказы о революциях полны историй о таких великих личностях, как Кромвель, Вашингтон, Робеспьер, Наполеон, Ленин, Сталин, Мао, Кастро, Гевара, Кабрал, Мандела, Акино. Порой возникает впечатление, что зарождение и триумф революций неотделимы от воли и судьбы этих революционных вождей. Однако из сравнения биографий революционных лидеров выясняется, что хотя многие из них обладали исключительной харизмой, другие ее не имели, и вообще в целом биография и личные характеристики революционных вождей и обычных политических лидеров не слишком существенно отличаются друг от друга (Rejai & Phillips 1988). Более того, в структурных теориях революции эти вожди едва упоминаются, а если и удостоиваются внимания, то в основном как безвольные марионетки истории, чьи лучшие намерения неизменно терпят крах при столкновении с глубинными социальными, политическими или экономическими силами.

Такое несоответствие можно понять, если исследовать навыки самих революционных вождей. Успеха добиваются те из них, которые умеют использовать благоприятные политические и экономические обстоятельства. Лидеры-неудачники обычно действуют в тот момент, когда обстоятельства совершенно не благоприятствуют успеху. В результате возникает впечатление, будто лидеры преуспевают лишь тогда, когда складываются благоприятные условия, иначе же их постигает неудача. Из-за этого успех революции кажется зависящим исключительно от внешних условий, а роль лидера, превращающего в революцию не более чем потенциально благоприятные обстоятельства, отходит на задний план. Значение лидерства особенно четко проявляется в таких крайних примерах, как

революция в Гренаде, где дурное руководство привело, по-видимому, удачную революцию к самоубийственному финалу (Selbin 1993), или китайская коммунистическая революция, в ходе которой выдающиеся вожди сумели сохранить революционное движение после сокрушительного поражения и подготовить условия, обеспечившие победу (Selden 1995).

Неспособность революционных вождей добиться провозглашенных целей — свободы, равенства, процветания — также воспринимается как доказательство незначительной роли лидерства. Однако все не так просто; после революции в среде ее сторонников нередко возникают разногласия и конфликты, революционные режимы проходят проверку на прочность и формируются в ходе военных столкновений, а получив абсолютную власть, многие вожди оказываются ослеплены ею и предаются мегаломанским фантазиям. Поэтому не удивительно, что революции далеко не всегда осуществляют свои предреволюционные цели. Однако из этого не следует, что лидерство не имеет никакого значения — просто его влияние проявляется сложным образом. Лидеры разного типа нужны не только для того, чтобы вдохнуть жизнь в революционное движение, способное сокрушить старый режим, но и для того, чтобы победить в междоусобной борьбе, начинающейся вслед за крахом старого режима, и выдержать военные удары, нередко обрушивающиеся на новый режим. А если революционные вожди переживут все это и ударятся в мегаломанские эксцессы, последующие страдания лишь подтверждают влияние революционных лидеров на судьбу простых людей и народов (Friedman et al 1991, Chirot 1994).

При исследовании лидерства выяснилось, что существуют два четко различающихся типа лидеров, сочетание которых — либо в лице одной личности, либо посредством сотрудничества двух или более лидеров — обычно необходимо для успеха предприятия. Что интересно, в этих двух типах лидеров, «народно-ориентированных» и «прагматично-ориентированных» (Aminzade et al 2001b, Selbin 1993), отражаются две стороны успешного управления и мобилизации, а именно справедливость и эффективность. Народно-ориентированные вожди вдохновляют людей, наделяют их чувством идентичности и силы и дают им видение нового и справедливого порядка, ради достижения которого их последователи объединяют свою энергию и усилия. Прагматично-ориентированные лидеры умеют создавать стратегию, соответствующую наличным ресурсам и обстоятельствам, разрабатывать планы по достижению конкретных целей, эффективно распоряжаться финансами и отвечать на изменение обстоятельств соответствующей стратегией и тактикой. Чистый народно-ориентированный лидер находит свое воплощение в религиозном пророке; примером чистого прагматично-ориентированного лидера может служить блестящий полководец. Движения, во главе которых стоит лишь сильное народно-ориентированное руководство, могут выродиться в кружок малочисленных, но преданных последователей культа (Hall et al 2000); движениям с сильным прагматично-ориентированным лидерством, не обладающим ясным видением будущего, нередко не удает-

ся укрепиться в народном сознании, и их революционный характер быстро улетучивается (Selbin 1993).

Судя по всему, обычно необходимо наличие двух или более людей и групп, играющих роли визионеров и организаторов революции, хотя распределение ролей не всегда бывает очевидно. Пуританские проповедники и Оливер Кромвель совместными усилиями принесли вдохновение и успех пуританской революции в Англии; Джефферсон и Адамс стали застрельщиками американской революции, но она бы потерпела поражение без руководства Вашингтона и без Конституционной конвенции, обеспечившей распределение власти в новом государстве; якобинцы сошли бы со сцены гораздо быстрее, если бы не военные победы Наполеона; при Ленине был Троцкий, возглавивший пролетарское восстание и создавший Красную армию; при Фиделе Кастро нашлись его брат Рауль и Че Гевара, ставшие движущей и организующей силой кубинской революции; братья Отега поделили между собой идеологическую и военную роли, возглавив революцию в Никарагуа; Аятолла Хомейни поручил либеральному профессионалу Бани-Садру осуществить институционализацию иранской революции и отразить нападение иракской армии.

Во многих случаях визионеры и практики в ходе революции вступают в противоборство, и кто-то из них одерживает верх. В Китае Мао и группа его старых соратников, «Банда четырех», явственно склонялись к визионерству, невзирая на ущерб, причиненный практической стороне дела; в России вскоре после смерти Сталина верх одержали скучные и практические партийные строители во главе с Брежневым. Интересно, что в обоих случаях результатом стал откат революции — в Китае установился ультрапрагматичный режим Дэна, в Советском Союзе Горбачев попытался вдохновить страну либеральными идеями. В Иране экстремистски настроенные клерикальные круги первоначально одолели либеральных прагматиков, так же как никарагуанские сандинисты, склонявшиеся к коммунизму, оказались сильнее своих более либеральных союзников. В случае Ирана позиции визионеров-экстремистов по сути усилились в результате давления США, и нынешнее контрнаступление умеренных кругов развивается вяло; напротив, в Никарагуа американское давление ослабило визионеров, дав возможность прийти к власти прагматической коалиции во главе с Виолеттой Чаморро. Таким образом, невозможно гарантировать сохранение «правильного» баланса между народно-ориентированными и прагматично-ориентированными лидерами, и соответственно течение революции может пойти в любую сторону.

Помимо визионерского и прагматического лидерства, Робнетт (Robnett 1997) выделяет еще и лидерство «посреднического» типа («bridge» leadership), сочетающее как идеологию, так и организационную задачу мобилизации на низовом уровне. В роли таких вождей выступают местные и общинные организаторы, становящиеся посредниками между верховным руководством и народными массами, превращая мечты и великие планы в приземленную реальность.



Интересно, что Робнетт, делая свои выводы на основе американского движения за гражданские права, находит сильный гендерный компонент в лидерстве этого типа. Она выяснила, что главными идеологическими и стратегическими лидерами движения были в основном чернокожие мужчины, но в роли лидеров-«посредников» по большей части выступали женщины. Таким образом, движение за гражданские права, как продемонстрировали другие исследователи (McAdam 1988), несмотря на свой радикализм касательно межрасовых отношений, отразило в своем руководящем составе превалирующий патриархальный гендерный уклон того расистского общества, с которым оно вело борьбу.

### *Гендерные отношения и революционные движения*

Многочисленные исследования документально подтверждают колоссальную роль, сыгранную женщинами в революциях, начиная с английской и французской революций (Davies 1998, Hufton 1992) и кончая недавними революциями в странах третьего мира (Tétreault 1994, Wasserstrom 1994, Diamond 1998). Женщины активно участвуют в уличных демонстрациях, партизанских войнах, обеспечении продовольствием и припасами и в «посредническом» лидерстве. Однако, несмотря на массовое участие, связь между ролью женщин в революции и гендерным характером движения либо появлением женщин в качестве независимых лидеров нередко оказывается менее заметной, чем можно было бы ожидать.

Могадам (Moghadam 1997) и Тейлор (Taylor 1999) указывают, что в организации и целях протестных и революционных движений всегда, явно или неявно, присутствует гендерный момент. Поскольку почти все общества в истории носили патриархальный характер, протестные движения и революции обычно были направлены против патриархальных режимов и институтов. Поэтому им приходится делать выбор. Выступая против существующих политических институтов, станут ли они тем не менее и в своем движении воспроизводить патриархальный характер общества? Или же им следует лишиться этого характера и свое движение, и свои представления о новом обществе?

Здесь нередко наблюдается существенное расхождение между риторикой и практикой. Российская и кубинская революции сознательно пытались построить гендерно-равноправное общество, и им удалось в массовом порядке привлечь женщин на рабочие места и в новые профессии (Goldman 1993, Smith & Padula 1996). Однако немногие женщины попали на важнейшие руководящие должности, а ценности соответствующих обществ так и остались в основе своей мужскими. Английская, французская и американская революция вдохновили многих женщин на занятие важнейших ролей в низовом слое и даже включили женские идеи в свою революционную иконографию (Hunt 1992). Тем не менее они никак не пытались изменить традиционную роль женщин в обществе. В иранской революции участвовало много вестернизированных, образованных



женщин, сознательно одевших традиционное исламское женское платье как символ оппозиции западному культурному империализму и солидарности с лозунгами революции. Но неприятным сюрпризом для этих женщин стало то, что им не позволили принять участие в дальнейшем формировании характера революции, а тот самый антизападный исламский способ саморепрезентации, избранный ими для того, чтобы поддержать революцию, впоследствии стал одним из аспектов усилившегося угнетения (Moghadam 1994, Fantasia & Hirsch 1995).

Даже феминистские движения не могут прийти к согласию по поводу своих лозунгов. Ранние феминистки опасались того, что антисексуальные или прогомосексуальные лозунги негативно отразятся на их борьбе за политическую эмансипацию и право голоса в рамках мейнстримного общества; современные феминистки стремятся в рамках своей борьбы с патриархатом отказаться от всех традиционных гендерных отношений и приветствуют активистов за права геев и лесбиянок как партнеров по общему делу (Taylor & Whittier 1992, Rupp 1997).

Ключевая проблема гендерных отношений в революционном движении — сможет ли в патриархальном обществе женщина приобрести достаточный авторитет и силу, чтобы стать независимым лидером визионерского или прагматического типа? Большинство женщин, ставших революционными лидерами — Акино на Филиппинах, Чаморро в Никарагуа, Аун Сан Су Чжи в Бирме — унаследовали мантию лидера от своих погибших мужей или отцов. Этот же механизм проявляется в отношении таких женщин — демократических вождей в азиатских странах, как Индира Ганди в Индии, Беназир Бхутто в Пакистане и Сиримаво Бандаранаике в Шри-Ланке. К настоящему моменту, несмотря на широкое участие женщин в революционных движениях и их важнейший вклад в качестве лидеров-«посредников», им еще не приходилось играть независимую руководящую роль (за исключением движения за политическое равноправие женщин, если рассматривать его как революционное). Да и сами революции, даже те, которые принесли женщинам полноправное участие в голосовании и широкие возможности по получению работы, не привели к быстрым трансформациям домашнего и лидерского статуса женщин в соответствующих обществах.

### **Парадокс революционного процесса: Репрессии — тормоз революций или их ускоритель?**

Мнение о том, что революция определяется в основном или исключительно структурными условиями, подкрепляется тем фактом, что порой революции происходят как будто невзирая на все усилия государства умиротворить или подавить восставших. Как ни странно, свирепые репрессии зачастую не способны заткнуть рот революционной оппозиции, а только раздувают пожар (Lichbach 1987, Weede 1987, Olivier 1991, Khawaja 1993, Kurzman 1996, Rasler 1996, Moore 1998). Много раз случалось

так, что проводившиеся государством реформы лишь поощряли революционеров к новым требованиям. Но в других случаях, примером которых служат недавние демократические движения в Бирме и Китае, внешне крайне благоприятные условия и значительная мобилизация масс были сокрушены репрессиями со стороны государства (Walder 1989, Carey 1997, Brook 1998). А в Пруссии в 1848 г., в Англии в 1830 г. и в Южной Африке в 1994 г. реформы в сочетании с репрессиями эффективно потушили революционное движение и положили ему конец. Когда же репрессиям и реформам удается остановить течение революции, и когда они не достигают успеха и даже приводят к обратному результату, провоцируя или подпитывая революционный пыл?

В то время как представления о несправедливости и неэффективности государства могут привести людей в стан оппозиции, развитие революционных конфликтов носит вероятностный и изменчивый характер. Действия и противодействия режима, его оппонентов, антиреволюционных движений и широкой общественности — все это оказывает влияние на процессы групповой идентификации, на представления об эффективности и справедливости режима и его противников, и на оценки вероятности перемен (Gartner & Regan 1996, Kurzman 1996, Rasler 1996, Zhao 2001). Реформаторские движения могут радикализироваться и стать революционными, первоначально вялая конфронтация порой взрывается массовыми восстаниями, а массовые народные движения нередко терпят поражения.

Хорошо известно, что многие революции и восстания, начиная с английской и французской революций и кончая мятежом Мау-Мау в Кении и «Ла-Виоленсией» в Колумбии, выросли из попыток не свергнуть, а лишь реформировать правящий режим (Walton 1984, Speck 1990). Сочетание неожиданного давления низов, конфликтов между консервативной и радикальной фракциями реформаторского движения, реакции на иностранную интервенцию и нерешительных либо провокационных действий режима может спровоцировать радикализацию руководства движения и революционизирование его политики (Furet 1981). В сущности, структурные условия, порождающие движения социального протеста, неудачные восстания и революции в целом очень похожи друг на друга. Трансформация социального движения в восстание или революцию зависит от того, каким образом режим, элита и общественность реагируют на конфликтную ситуацию (Goldstone 1998b).

Столкнувшись с требованиями реформ, правящий режим может воспользоваться любым сочетанием уступок и репрессий для того, чтобы разоружить оппозицию (Davenport 1995). Выбор нужного сочетания — задача нелегкая. Если режим, уже утративший видимую эффективность и справедливость, обещает уступки, этого может быть «слишком мало и слишком поздно», и в таком случае массовые требования крупномасштабных перемен лишь усилятся. Именно поэтому Макиавелли советовал правителям предпринимать реформы лишь с позиции силы; если реформа будет проводиться с позиции слабости, то она приведет лишь

к дальнейшей утрате режимом поддержки. Попытки ускорить прозападные реформы, предпринятые вдовствующей императрицей в последние годы императорского Китая и Горбачевым на закате Советского Союза, привели лишь к эскалации критики в адрес старого режима и в конце концов к полному отказу от него и к свержению (Teitzel & Weber 1994).

Эффективность репрессий зависит также от их степени и от контекста. Мощные репрессии либо репрессии, направленные на небольшую группу «уклонистов», могут рассматриваться как свидетельство государственной эффективности и запугать оппозицию. Однако те репрессии, которые недостаточно сильны, чтобы подавить оппозицию, или настолько бесцельные и хаотические, что обрушиваются на головы невинных, или же направленные на те группы, которые в глазах общественности считаются репрезентативными, а их протесты выглядят обоснованными, могут очень быстро подорвать представления об эффективности и справедливости режима (White 1989, Goldstone & Tilly 2001). Так, гибель Педро Чаморро в Никарагуа и Бениньо Акино на Филиппинах, массовые преследования простых граждан кубинским диктатором Батистой и убийства иранских демонстрантов шахскими войсками в 1978 г. привели лишь к еще более масштабным протестам. Напротив, безжалостное подавление митингов протеста на площади Тяньаньмынь, участники которых были публично заклеены как контрреволюционные предатели, по меньшей мере на десятилетие покончило с публичным сопротивлением коммунистическому правлению в Китае (Zhao 2001).

Результат репрессий зависит также от представлений об уязвимости правителей. Когда считается, что режим теряет поддержку и может быть свергнут, протестующие готовы пойти на большой риск, и жестокость со стороны режима станет в глазах публики лишь очередным подтверждением того, что он должен уйти; но когда режим считается непоколебимым, неразборчивое насилие и террор обычно просто затыкают оппозиции рот (Mason & Krane 1989, Opp & Roehl 1990, Opp 1994, Brockett 1995).

Однако правителям практически не на что ориентироваться в попытках заранее определить, окажется ли данный уровень уступок или репрессий достаточным. Недостаточная осведомленность и чрезмерная самоуверенность могут служить дополнительными факторами, приводящими к неадекватной реакции. Что еще хуже, правители нередко колеблются между уступками и репрессиями, проявляя непоследовательность, а следовательно, как неэффективность, так и несправедливость (Goldstone & Tilly 2001). Например, и Маркос на Филиппинах, и Милошевич в Сербии полагали, что могут обеспечить себе победу на выборах, и поэтому пошли на явную уступку, объявив выборы в целях оправдания своего авторитарного правления. Когда же, несмотря на их усилия, у общественности сложилось представление, что выборы они проиграли, им пришлось вернуться к репрессиям, чтобы сохранить власть. Но вследствие очевидного поражения на выборах решимость армии и полиции защищать режим ослабла и репрессии против массовых протестов не удались, что привело к краху режима.

Иностранная интервенция также может заставить отказаться от репрессий в пользу уступок и наоборот. Активная политика Джимми Картера по защите прав человека вынудила Сомосу в Никарагуа и иранского шаха ослабить репрессии, дав возможность их противникам оказать более активное публичное сопротивление. В последующей круговерти репрессий, уступок и протестов эти режимы оказались недостаточно репрессивными, чтобы расправиться с противниками, но достаточно репрессивными, чтобы усилить представление об их несправедливости, заставившее элиту и общественность перейти на сторону оппозиции, тем самым укрепляя революцию. Напротив, в 1956 г. в Венгрии и в 1968 г. в Чехословакии местные режимы достаточно долго колебались, в результате чего реформаторы набрались смелости потребовать радикальных изменений социалистического строя; однако крупномасштабные внешние репрессии со стороны Советского Союза привели к подавлению народных восстаний.

В целом сильный режим, которому противостоит слабая оппозиция, спокойно возьмет над ней верх либо путем уступок, либо путем репрессий; однако режим, обнаруживший свою серьезную военную или финансовую слабость, столкнувшись с широкой оппозицией со стороны элиты и народа, способен выжить лишь с огромным трудом. В этих случаях исход в целом предопределен структурными условиями. Однако во многих случаях сила либо слабость режима и уровень его общественной поддержки либо оппозиции или имеют промежуточное значение, или просто неясны в начале конфликта (Kuran 1989, 1995b). В таких случаях структурные условия не позволяют наверняка предугадать развитие событий, которое определяется только взаимодействием режима и его противников. По видимости сильный режим, проводящий слабые или непоследовательные репрессии или идущий на чрезмерные уступки, может быстро подорвать свои позиции (Kurzman 1996). Более того, режим, неожиданно проводящий реформы, может лишиться своих более умеренных противников повода к сопротивлению, вследствие чего рекрутирование общественной поддержки перейдет в руки более радикальных элементов (Walton 1984, McDaniel 1991, Seidman 1994).

Поскольку авторитарные режимы нередко не в состоянии понять своих подданных или чрезмерно уверены в своем могуществе, они то и дело совершают ошибки, и зачастую по видимости надежный режим, просуществовавший уже многие годы, неожиданно сталкивается со стремительно ширящимся сопротивлением, которого никто не мог предвидеть несколькими годами ранее — что произошло в Иране в 1979, на Филиппинах в 1986 и с коммунистическими режимами в Восточной Европе и в Советском Союзе в 1989–1991 гг. Напротив, режимы, представляющиеся структурно слабыми, такие как режим личной власти Мобуту в Заире, могут держаться много лет, если умело пользуются уступками и репрессиями, которые не сплачивают и разжигают сопротивление, а разъединяют его и нейтрализуют.

## Микроуровневые факторы и количественный анализ

В исследовании революций (и мирных демократических переходов) в последние два десятилетия преобладал метод ситуационных исследований (case-study), причем в качестве ситуаций служили пути развития конкретных наций. Поэтому акцент делался на такие системные макроуровневые факторы, как взаимоотношения между государством, элитами, группами населения и иностранными державами; идеологии и культурные рамки наций и крупных групп; а также такие тенденции на национальном уровне, как социальная мобильность, государственный долг или рост населения. Этот подход, сводящийся к анализу небольшого числа ситуаций на системном уровне, стал поводом для многочисленных дискуссий (Liebersohn 1991, Collier 1993, King et al 1994, Goldthorpe 1997, Goldstone 1997a, Katznelson 1997, Ragin 1997, Rueschemeyer & Stephens 1997, Mahoney 2000). Хотя большинство исследователей по-прежнему считают, что метод ситуационных исследований имеет свои достоинства, значительное внимание отныне уделяется и двум другим подходам: микроуровневому анализу мотиваций индивидуумов, вовлеченных в революционную деятельность (включая социально-психологический подход и моделирование рационального выбора), и количественному анализу факторов, связанных со случайностью революций (как булевский анализ, так и статистика больших чисел).

### *Микроуровневые факторы: рациональность революции*

При разговоре о роли связей и лидерства мы уже ссылались на выводы социально-психологического анализа. Исследователи указывали на то, что индивидуумы, участвующие в восстаниях и рискованных акциях протеста, обычно находят мотивацию, рекрутируются и получают санкцию через уже существующие общины, к которым они принадлежат, но пробуждение специфически оппозиционной групповой идентичности зависит от действий революционных активистов и государства (Klandermans 1984, Klandermans & Oegema 1987). Преданность оппозиционной идентичности зависит от веры в эффективность протеста, которая подкрепляется мелкими победами и приобретениями революционной группы; помимо того, несправедливые поступки государства или свидетельства его слабости могут подтолкнуть граждан к тому, чтобы отказаться от идентификации с государством, взамен нее обратившись к общинам, неформальным связям и оппозиционным движениям как к альтернативным полюсам политической лояльности.

Модели рационального выбора дают дальнейшее подтверждение этим выводам. Ранее теоретики рационального выбора утверждали, что ситуационным исследованиям революций на макроуровне не хватает микрооснований (Friedman & Hechter 1988, Kiser & Hechter 1991). Они даже считали, что поскольку индивидуумы, участвуя в протестном поведении, идут

на значительный риск и затраты, но в случае успеха протеста пользуются всеми его выгодами вне зависимости от своего участия в нем, то революционная деятельность отдельных лиц является иррациональной (Olson 1965, Tullock 1971). Однако последующие исследования показали, что на практике эта проблема коллективных действий применительно к индивидуумам имеет множество решений и что рациональность революционной деятельности, несомненно, имеет серьезные микроуровневые основания.

Лихбах (Lichbach 1995, 1996) показал, что существуют четыре основных группы решений этой проблемы коллективных действий, причем каждая из них предлагает собственный способ мотивировать индивидуумов на участие в протесте. Эти способы сводятся к изменению стимулов, эксплуатации обязательств перед коммуной, заключению контрактов и использованию авторитета. На практике они применяются в различных сочетаниях и обеспечивают большое многообразие рецептов по организации коллективных действий. Таким образом, теория рационального выбора по отношению к революциям отныне не вступает в противоречие с фактом коллективных действий; наоборот, анализ рационального выбора вместе с другими подходами используется для выявления процессов, посредством которых коллективные действия решают свои задачи, и общих характеристик таких решений.

В основе всех этих решений лежат санкционирование и групповая идентификация. Хотя само по себе это может считаться несколько загадочным (Hechter 1987), тем не менее эмпирические исследования в антропологии, обзорные исследования и психологические эксперименты демонстрируют широко распространенную среди людей тенденцию к соблюдению норм честности и групповой ориентации (Oliver 1984, Klosko 1987, Knoke 1988, Finkel et al 1989, Fiske 1990, Hirsch 1990, Piliavin & Charng 1990). Люди, особенно склонные идентифицировать себя с группой, обычно чувствуют обязательство поступать так же, как вся группа, будучи уверены при этом, что другие члены группы поддержат их. В таком случае главный вопрос протестной деятельности состоит не в проблеме коллективных действий, а в том, верят ли люди в эффективность группы в случае осуществления тех или иных шагов (Opp 1989, Masy 1990, Masy 1991, Oberschall 1994b). После того как мы поймем, что не индивидуум, а группа представляет собой основополагающую единицу, принимающую решения по поводу протестных действий, модели рационального выбора помогут нам предсказать механизмы революционной мобилизации, согласующиеся с многочисленными примерами из самых разных эпох и всевозможных культурных окружений (Taylor 1988a, Chong 1991, Tong 1991, Goldstone 1994b, Hardin 1995, Moore 1995, White 1995).

После того как выяснилось, что групповая идентификация позволяет преодолеть проблему участия индивидуума в коллективных действиях, анализ рационального выбора сосредоточился на выявлении тех типов групповой структуры, которые благоприятствуют протестным действиям, и наиболее вероятных механизмов мобилизации. Такие исследова-



ния показали, что ни простая однородная группа с сильными связями (типа традиционной крестьянской деревни), ни крайне разнородная группа (например, пестрое городское население) не идеальны для мобилизации. Напротив, мобилизация легче всего протекает в группах с наличием тесно сплоченного авангарда активистов, служащих инициаторами действий, и нежестких, но централизованных связей с более широким кругом сторонников (Heckathorn 1990, Heckathorn 1993, Marwell & Oliver 1993, Kim & Bearman 1997, Chwe 1999, Yamaguchi 2000). Это помогает объяснить, почему более зажиточные крестьяне, которым есть что терять, нередко играют ключевую роль в крестьянских восстаниях (Wolf 1969), и почему городские бунты обычно начинаются в небольших соседских, профессиональных или религиозных общинах (Gould 1995).

Модели рационального выбора также демонстрируют, почему революционная мобилизация зачастую подвержена стремительной и неожиданной эскалации. Если ключ к протестной мобилизации состоит в необходимости убедить группу, что ее действия против режима окажутся эффективными, то решающее значение приобретают два момента: относительная слабость или решительность режима и число других групп, поддерживающих эти действия. Изменение представлений или новая информация могут способствовать тому, что группы, уже давно вынашивавшие озабоченность по поводу несправедливости или эффективности режима, проникнутся уверенностью, что теперь их действия в состоянии обеспечить перемены. Таким образом отдельные события или кризисы, служащие источниками новой информации, могут привести к внезапной мобилизации, основанной на ранее скрывавшихся предпочтениях и представлениях, создавая эффект «прицепа»: все новые и новые группы принимают участие в действиях, момент для которых кажется все более благоприятным (Kuran 1989, Carley 1991, Chong 1991, Macy 1991, Karklins & Peterson 1993, Koopmans 1993, Lohmann 1993, Lichbach 1995). Такие модели служат рамкой для понимания механизма взрывной мобилизации, характерной для таких событий, как неожиданный крах коммунистической власти в Советском Союзе и Восточной Европе (Kuran 1991).

Таким образом, исследования модели рационального выбора применительно к революциям, проводившиеся в последние десять лет, выявили те же моменты — лидерство, групповую идентичность, связи — которые вышли на первый план в недавних сравнительно-исторических исследованиях. Анализ рационального выбора, более не выдвигая парадоксов, движется к созданию надежной микроуровневой основы для понимания причин и динамики революционных действий.

### *Количественный анализ*

Хотя многие ситуационные исследования использовали количественный метод для анализа конкретных взаимоотношений, все же в поле их зрения попало лишь небольшое число ситуаций. С целью преодолеть этот



недочет исследователи в поисках общих закономерностей революционной деятельности обратились к анализу данных в глобальном масштабе.

Ранняя волна количественного анализа революций, пришедшая на 1960-е гг., основывалась в основном на линейной регрессии с использованием глобальных данных по странам и годам, и в первую очередь касалась проблем модернизации и теории депривации (Feierabend et al 1969, Gurr 1968). Оценки таких моделей выявили их несогласованность (Gurr 1980), и в 1970-е и 1980-е гг. они уступили место структурному и ситуационно-компаративному анализу (Skocpol 1979). Однако в последние годы наблюдается новая волна количественного анализа, старающаяся сочетать достоинства статистического анализа больших чисел с вниманием к ситуационным исследованиям, которые сейчас связываются главным образом с характером государства.

Серьезным новшеством стало использование булевского анализа (Ragin 1987), при котором переменные для каждого из большого числа отдельных ситуаций получают двоичные значения «есть» и «нет». Тем самым учитывается специфика каждой из ситуаций и допускаются разнообразные конфигурации независимых переменных. После этого с помощью тех или иных алгоритмов вычисляется минимальный набор или наборы переменных, которые характеризуют конкретные результаты событий.

Форан (Fogant 1997b) и Уикхэм-Краули (Wickham-Crowley 1992) удачно использовали булевский анализ при исследовании нескольких десятков революций в странах третьего мира. Они выяснили, что полномасштабные социальные революции происходят редко и связаны с наиболее четким набором переменных. Другие революции — неудавшиеся революции, политические революции, крестьянские восстания — связываются с иными, более разнообразными сочетаниями. Однако этот анализ не привел к появлению четкой теории о причинах революции, поскольку оба исследователя пользовались различными наборами переменных и изучали различные случаи. Булевский метод очень чувствителен к конкретным событиям и к используемым переменным. Согласно анализу Форана, каждой успешной социальной революции сопутствует «культура восстания»; в исследовании Уикхэма-Краули эта переменная не учитывалась, но и без нее оказалось несложно отделить удачные социальные революции от других событий. По сути, булевский анализ продемонстрировал, что не существует общего набора факторов, наличие или отсутствие которых обязательно ведет к революции либо делает ее невозможной. Скорее можно сказать, что многочисленные факторы, по-разному сочетаясь, приводят к различным типам и последствиям революционного конфликта.

Более традиционный регрессивный анализ также отошел от простого использования переменных типа «страна-год» в качестве отправных данных со всеми сопутствующими проблемами многообразных и сложных автокорреляций. Анализ повстанческих движений и гражданских войн, проведенный Коллиером и др. (Collier et al 2000), отталкиваясь от объе-

диненных по регионам данных, имел своей целью выяснить, почему гражданские конфликты в Африке происходят чаще, чем в других частях света; в анализе Фирона и Лайтина (Fearon & Laitin 2000) использовались данные, объединенные по десятилетиям, в качестве основы для анализа последующих событий. Олзак (Olzak 1992) пользуется событийно-историческим анализом, исследуя развитие этнического конфликта в нескольких четко обозначенных случаях. Интересно, что исследования Коллиера, Фирона и Лайтина, и Олзака предпринимались для проверки одной и той же гипотезы — о наличии связи между жестокими этническими конфликтами (которые нередко служат причиной революции либо сопровождают ее) и этническим составом населения. Во всех этих исследованиях количественный анализ конкурирующих гипотез привел к опровержению мнения о том, что этнический состав сам по себе служит основной причиной насилия; напротив, к политической борьбе ведут такие факторы, как экономическая конкуренция и застой в экономике.

Однако еще одна попытка сочетать ситуационный и количественный анализ была предпринята Рабочей группой по вопросам несостоятельности государств (Esty et al 1998, Goldstone et al 2001) — совместным проектом научных кругов и правительственных учреждений США по созданию крупномасштабной базы данных по важнейшим внутренним политическим конфликтам. Сперва рабочая группа выявила более 100 отдельных случаев гражданских войн, восстаний и революций, произошедших в мире с 1955 по 1995 г. Далее для каждого года, в котором начиналась «проблемная» ситуация, рабочая группа случайным образом выбирала три другие страны из числа всех тех стран мира, в которых ни пятью годами ранее, ни пятью годами позже не наблюдалось подобных внутренних конфликтов («стабильные» ситуации). Таким образом, каждой проблемной ситуации противопоставлялись три избранные случайным образом контрольные ситуации. После этого данные для проблемных стран обобщались и сопоставлялись с данными по контрольным странам в попытке найти факторы, связанные с крупными политическими конфликтами. Этот метод позволил проанализировать обобщенные данные для более чем 400 ситуаций; тем не менее каждый конфликт рассматривался как единое целое, служа основой для сравнений.

Рабочая группа повторила этот анализ для глобальных и региональных наборов данных и пришла к весьма правдоподобным выводам. Выяснилось, что теснее всего связаны с политическими переворотами три переменные — тип режима, международная торговля и детская смертность. Тип режима оказался связан с политической нестабильностью неожиданной U-образной зависимостью: демократии и автократии обладали значительной стабильностью, но частичные демократии подвергались чрезвычайно высокому риску. Страны с большей долей валового национального продукта (ВВП), вовлеченного в международную торговлю, и с меньшей детской смертностью в целом были более стабильны. На первый взгляд, эти факторы резко расходятся с теми, которые фигурируют у Фирона

(Foran 1997c), Гудвина (Goodwin 2001) и в других недавних ситуационных исследованиях революций. Однако их можно согласовать друг с другом. Частичные демократии существуют как раз в тех государствах, в которых элита и правители вступили в процесс конфликтов, реформ и уступок; те государства, которые таким образом обнаружили свою слабость, оказываются в крайне нестабильном состоянии. Более существенное вовлечение ВВП в международную торговлю требует приверженности законопорядку и терпимого уровня коррупции; кроме того, оно может сдерживать конкуренцию элит. Напротив, в странах с непропорционально слабым участием в международной торговле относительно размера их экономик с большей вероятностью возникнут элитные фракции, перекашивающие торговлю или экономическую активность в свою пользу, что обостряет внутриэлитные конфликты. Детская смертность известна как превосходная обобщающая мера жизненных стандартов; вследствие этого она связана с массовыми представлениями о том, насколько эффективно режим заботится о благоденствии народа, и насколько эффективны националистические программы экономического развития. То обстоятельство, что относительно высокое значение всех этих трех переменных сигнализирует о большой вероятности революции, подтверждает правомочность согласованного подхода при ситуационных исследованиях.

Эти новые количественные подходы еще находятся в процессе разработки. Тем не менее поражает то, что в отношении причин политических переворотов все они указывают в том же самом общем направлении, что и ситуационный анализ революций. Согласно всем важнейшим исследованиям, вне зависимости от их метода, именно те факторы, которые влияют на мощь государства, конкуренцию между элитами и жизненный уровень населения, определяют стабильность или нестабильность правящего режима. Можно надеяться, что новое поколение количественных исследований не ослабит, а подкрепит и обогатит ситуационно-компаративные исследования.

### **Последствия революций**

Последствия революций вызывают у исследователей гораздо меньший интерес, чем причины, возможно, за исключением последствий, связанных с гендерными вопросами. Возможно, это происходит из-за того, что последствия революций в случае победы революционеров считаются очевидными. Однако наличествующие исследования опровергают это предположение; последствия революций зачастую принимают совершенно неожиданный оборот.

Стинчкомб (Stinchcombe 1999) вполне разумно указывает, что революция заканчивается тогда, когда стабильность и выживание институтов, учрежденных новым режимом, более не вызывает сомнений. Но даже такое определение двусмысленно, поскольку оно может существовать в слабом и в сильном вариантах. Согласно слабому варианту, революция

завершается, когда важнейшим институтам нового режима уже не грозит активный вызов со стороны революционных или контрреволюционных сил. Из этого подхода следует, что французская революция завершилась в термидоре 1799 г., когда Наполеон захватил власть, русская революция 1917 года завершилась в 1921 г. победой большевиков над белыми армиями, а мексиканская революция 1910 года завершилась в 1920 г., когда президентом стал Обрегон. Однако сильное определение, согласно которому революция заканчивается лишь тогда, когда ключевые политические и экономические институты отвердели в формах, которые в целом остаются неизменными в течение значительного периода, допустим, 20 лет, — приводит к совершенно иным результатам. Согласно этому определению, как указал Фурет (Furet 1981), французская революция завершилась лишь с провозглашением французской Третьей республики в 1871 г. Русская революция 1917 г. должна считаться незавершенной вплоть до сталинских чисток 1930-х гг., а конец мексиканской революции 1910 года следует отнести к 1940 г. — к реформам Карденаса. Если на то пошло, то китайская революция, начавшись в 1910 году, все еще продолжается, так как ни республиканская, ни националистическая, ни коммунистическая, ни Великая пролетарская культурная революции не привели к установлению долговечного социально-экономического строя.

Как ни досадно, но среди исследователей по этому поводу нет единства, и в различных анализах для датировки конца революции используются слабые, сильные и даже идиосинкразические подходы. И все же, хотя окончание революции с трудом поддается однозначному определению, тем не менее мы имеем возможность поговорить о последствиях, которые чаще всего наблюдаются после падения старого режима.

### *Внутренние последствия*

Революционеры нередко заявляют, что они устранят неравенство, установят демократию и обеспечат экономическое процветание. В реальности же достижения революций в отношении всех этих обещаний остаются весьма скромными (Weede & Muller 1997).

Хотя для многих революций характерно некоторое изначальное перераспределение активов (в первую очередь земли), ни один революционный режим не смог обеспечить чего-то большего, нежели символическое равенство. Вознаграждения администраторам и главным организаторам экономики быстро приводили к дифференциации доходов (Kelley & Klein 1977). Это верно и для капиталистических, и для коммунистических революционных режимов. Кроме того, многие режимы, начинавшие с радикальных и популистских экономических планов, со временем переходили к «буржуазной» и капиталистической организации экономики, что произошло в Мексике, Египте, а совсем недавно и в Китае (Katz 1999).

До самого недавнего времени попытки революций насадить демократию неизбежно заканчивались провалом. Необходимость консолидации

нового режима перед лицом борьбы с внутренними и внешними врагами, наоборот, приводила к установлению авторитарных режимов, нередко в обличье популистской диктатуры, подобно режимам Наполеона, Кастро и Мао, или к созданию однопартийных государств, таких как Мексика под властью Революционной институциональной партии или возглавляемые компартиями СССР и государства Восточной Европы. Вообще, борьба, необходимая для захвата и удержания власти во время революций, обычно вносит свой вклад в военизированный и насильственный характер новых революционных режимов (Gurr 1988). Поэтому поразительно, что в ходе нескольких недавних революций — на Филиппинах в 1986 г., в Южной Африке в 1990 г., в восточноевропейских государствах в 1989–1991 гг. — неожиданный крах старого режима сразу же привел к установлению новых демократий, нередко вопреки массовым ожиданиям возврата диктатуры (Fagan & Goodwin 1993, Weitman 1992, Pastor 2001). Судя по всему, в данных случаях установлению демократии способствовало несколько факторов: отсутствие внешней военной угрозы, сильная личная преданность революционных вождей демократии и существенная внешняя поддержка иностранными державами новых демократических режимов.

Еще больше вопросов вызывают экономические последствия. Можно было бы ожидать, что революция высвободит колоссальную энергию для перестройки экономической системы, точно так же, как она приводит к перестройке политических институтов. Но в действительности этого почти никогда не случается. В большинстве случаев долговременное экономическое развитие революционных режимов отстает от развития сопоставимых стран, не знавших революций (Eckstein 1982, 1986). Возможно, отчасти это происходит из-за того, что расколы и конфликты в элите, предшествующие революции и нередко следующие за ней, губительны для экономического прогресса (Haggard & Kaufman 1995).

Судя по всему, те самые усилия, которые уходят на перестройку политических институтов, душат экономический рост (Zimmermann 1990). Революционные режимы обычно оказываются более централизованными и более бюрократизированными, чем те, которые им предшествовали (Skocpol 1979). Помимо того, с целью укрепления своей власти, революционные вожди нередко жестко ограничивают предпринимательскую активность; пятилетние планы и переход крупнейших предприятий под контроль или во владение государства загоняет экономическую активность в узкие каналы.

Революционные режимы зачастую способны сконцентрировать ресурсы и добиться бурного роста в отдельных отраслях экономики. Советский Союз и Китай вполне преуспели в создании комплексов тяжелой индустрии в стиле XIX века. Но ни один из них: ни Иран, ни Никарагуа, ни любой другой революционный режим — не сумели обеспечить массовых экономических инноваций и активного предпринимательства, необходимых для стремительного и непрерывного экономического роста (Chivot 1991).

Однако вполне возможно, что новые демократические революции окажутся исключением. По-видимому, они создают более благоприятные условия для экономического развития и гораздо менее бюрократизированы, чем те режимы, которые были ими ликвидированы. Польша, Чехия и бывшая ГДР уже продемонстрировали серьезные экономические достижения. Тем не менее большинство революционных государств либо продолжают сдерживать экономическую активность (Белоруссия и постсоветские республики Средней Азии), либо слишком слабы и дезорганизованы, чтобы обеспечить и закрепить широкие успехи в экономике (например, Россия, Грузия, Южная Африка). Таким образом, общая тенденция революций к ухудшению экономического положения остается неизменной, несмотря на несколько обнадеживающих исключений.

Как отмечалось выше, еще одной областью, в которой революционные последствия обычно не оправдывают ожиданий, является социальная эмансипация женщин и их появление на руководящих ролях. Хотя современные социалистические революции в целом открыли женщине дорогу к рабочим местам и профессиональной карьере, они не изменили ее по сути вторичный статус (Lapidus 1978, Cole 1994). Несмотря на активное участие женщин в большинстве мировых революций и их лидерство на низовом уровне, гендерное равенство после завершения революционной борьбы по-прежнему отсутствовало, а даже если и было провозглашено, оставалось иллюзорным (Lobao 1990, Randall 1993, Foran et al 1997).

Положение религиозных и этнических меньшинств при новом режиме зачастую только ухудшается. Хотя революции нередко обещают абстрактное равноправие всем своим сторонникам, в случае угрозы революционному режиму со стороны контрреволюции или иностранной интервенции любые группы, не связанные с новым правительством этнической и религиозной солидарностью, вызывают подозрения в нелояльности и могут подвергнуться преследованиям. Такова была судьба бахаистов во время исламской революции в Иране, индейцев миски-то в Никарагуа, а также тех хорватов, боснийцев и сербов, которые оказались не на той стороне границы в ходе революционного распада Югославии (Gurr 1994).

Если последствия революций приносят столько разочарований, почему же к ним тем не менее так энергично стремятся? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить один причинный фактор — роль лидерства — и ту область, в которой революционные последствия не только оправдывают, но даже превосходят ожидания, а именно приращение государственной власти.

Главные цели революционных вождей — перестроить основу политической власти, внести свой вклад в политическую и (или) экономическую и социальную организацию общества, а также изменить статус своей страны в системе международных отношений. Несмотря на все свои неудачи, революции с поразительным успехом мобилизуют население и используют эту мобилизацию в политических и военных целях (Skocpol



1994). Хотя заявленные цели демократизации, равенства или процветания нередко остаются лишь лозунгами, непосредственных целей революционного руководства — захват и расширение государственной власти, изменение правил доступа к политической власти, перестройка представлений и институтов — удавалось добиться многим лидерам, от Наполеона до Гитлера, Ленина и Кастро.

Поэтому способность удачливых революционных вождей перестроить свое общество (пусть и не всегда с ожидаемым конечным результатом) продолжает вдохновлять застрельщиков революции. Как мы видели, важной чертой революционной мобилизации является стремление преданного ядра или авангарда революционеров организовать массовую мобилизацию сторонников, отталкиваясь от идеологического изображения существующего режима как фундаментально неэффективного и несправедливого. При таких условиях, особенно при наличии стимулов в виде уступок или репрессий, или когда старый режим выглядит уязвимым, возможна мобилизация народа на борьбу с режимом. Неизменную привлекательность революции, невзирая на многовековую историю несбывшихся ожиданий масс, следует понимать в контексте динамики лидерства и мобилизационных процессов, заостряющих внимание на нынешних несправедливостях, а не на будущих результатах (Martin et al 1990).

Кроме того, революции оказывают существенное влияние на положение стран на международной арене. Этот фактор обеспечивает привлекательность революционных националистических лозунгов как для элиты, так и для народных групп (Hall 1993, Calhoun 1998).

#### *Последствия революций на международной арене*

Уолт (Walt 1996) показал, почему одним из первых результатов революции часто является внешняя война. Внезапное возникновение нового режима разрушает прежние союзы и создает новые неуверенности. Иностранцам державам новый режим может показаться либо уязвимым, либо опасным; и то и другое суждение может вести к войне. Новые революционные режимы, неопытные в иностранных делах, могут совершить такие же ошибки в отношении своих соседей. Тем не менее режимы, осознающие свою крайнюю слабость — например, Россия после большевистской революции и США после войны за независимость — могут уйти с их дороги, чтобы избежать международных конфликтов (Conge 1996).

Помимо ошибочной оценки ситуации, революционные режимы могут пойти на такие шаги, которые спровоцируют или ожесточат военные действия. Многие революции, от пуританской революции в Англии и либеральной французской революции до коммунистических революций в России, Китае, на Кубе и исламской революции в Иране, откровенно объявляли частью своей революционной программы переделку мира. Армстронг (Armstrong 1993) показал, каким образом эти попытки разрушают существующий международный баланс сил. Однако та степень, в которой режим



стремится к войне для достижения этой цели, зависит от действий и противодействий революционных фракций и внешних сил. Мы уже отметили, что революции делаются коалициями, в которых присутствуют лидеры двух типов — визионерского и прагматического. Внешняя угроза может сыграть на руку более визионерским и радикальным элементам в революционной коалиции, которые сознательно стремятся к сражениям и миссионерским авантюрам (Blanning 1986, Sadri 1997). Напротив, когда верх берут более умеренные и прагматичные лидеры, а иностранные державы скорее поддерживают новый режим, нежели угрожают ему, внешний импульс к войне скорее всего будет слабым, как произошло вслед за революциями в США, Боливии и Зимбабве (Snyder 1999).

В конце концов даже революционным режимам приходится примириться с реалиями системы международных отношений и занять то или иное место в созвездии мировых держав (Armstorn 1993). Революции могут привести к долговременным изменениям в положении страны и расстановке сил на международной арене. Одни революции вдыхают новую агрессивную энергию в старые нации, превращая их в региональную или глобальную угрозу старым державам. Так, Япония после реставрации Мэйдзи, Германия после нацистской революции и Россия после консолидации коммунистической революции Сталиным вступили на путь экспансионизма. Последствия Второй мировой войны, которую можно считать результатом коммунистической революции в России и нацистской революции, привели к русской экспансии в Восточной Европе и к расколу германской нации, на 50 лет определив основные водоразделы в системе международных отношений. В результате антиколониальных революций международная система, естественно, пополнилась новыми государствами и снизилось влияние колониальных держав в регионах, прежде находившихся под их властью. Многие другие революции были направлены против иностранных покровителей, которые поддерживали старый режим; в Афганистане, Вьетнаме, Никарагуа, Кубе и Иране такие революции привели к резкой враждебности между старой державой-покровителем и новым режимом. Революции обоих типов удовлетворяют решительное стремление революционной элиты к националистическому самоутверждению и независимости, одновременно усиливая у народных масс ощущение своего могущества. Даже в Мексике и на Филиппинах, где революционеры не занимали резко враждебной позиции по отношению к Соединенным Штатам (которые поддерживали дореволюционные режимы), взрыв националистических настроений, сопровождающий революцию, привел к национализации средств производства в Мексике и к изгнанию американцев с филиппинских военных баз. Таким образом, последствия революций порой незаметно, а порой драматично на многие десятилетия вперед формируют международные отношения, нередко вдыхая инициативу и наделяя автономией те государства, в которых произошли революции (Silverson & Starr 1994).

## Реконцептуализация революций

Более 20 лет назад у Скочпол (Skocpol 1979) прозвучала формулировка, которая стала доминирующей парадигмой для анализа революций. По мнению исследовательницы, хотя маргинальные элиты играют ключевую роль в руководстве революциями, а на последствия революций оказывают определяющее влияние такие всемирно-исторические возможности, как наличие коммунистических шаблонов, основными силами, которые стоят за революциями и их последствиями, являются структурные особенности государств и системы международных отношений.

Согласно этому подходу, стабильность режимов принимается как нормальное и понятное состояние; задача теории сводится к тому, чтобы выявить краткий и непротиворечивый список условий или факторов, которые подрывают эту стабильность и способствуют народной мобилизации. Едва эти факторы возникают, приводя к кризису режима, как действия оппозиции по свержению и преобразованию этого режима оказываются нормальным и закономерным исходом, причем окончательный итог революции определяется структурными ограничениями и возможностями, предоставляемыми отечественной экономикой и международной политико-экономической системой. Действия отдельных лиц, лидерство и конкретные шаги старого режима, революционных фракций или иностранных государств считаются либо несущественными факторами, либо логическим результатом преобладающих структурных условий.

Двадцать лет и примерно два десятка революций спустя этот взгляд пора перевернуть с головы на ноги. Стабильность режимов, безусловно, скрывает в себе множество загадок; по всей Африке южнее Сахары, на Балканах, в курдских регионах Турции и Ирана, в Грузии, Чечне, Таджикистане, Восточном Тиморе и других частях Индонезии о стабильности приходится только мечтать. Крах авторитарных режимов в Иране, Никарагуа, на Филиппинах и в Югославии, а также крушение однопартийных государств Восточной Европы и Советского Союза продемонстрировали, насколько масштабной и внезапной может стать потеря стабильности.

Кроме того, короткий и непротиворечивый список факторов, ведущих к революции, представляется химерой. Помимо внешнего военного давления и конфликтов внутри элиты по поводу налогообложения, на которые указывает Скочпол, исследователи революций доказали, что с самыми разными революциями были связаны такие факторы, как экономические кризисы, культуры восстания, зависимое развитие, демографическое давление, структуры колониального режима или личной власти, межклассовые коалиции, утрата националистической репутации, военная измена, распространение революционной идеологии и примеров, эффективное лидерство, хотя в каждом конкретном случае они действовали по-разному (Goldstone et al 1991, Goodwin 1994b, Foran 1997b). Более того, в число факторов, благоприятствующих мобилизации народа, входят традиционные

сельские и профессиональные общины, неформальные городские связи, репрессии и (или) уступки со стороны государства в ответ на действия оппозиции, партизанские организации, революционные партии, а также эффективная идеологическая основа и организация, созданная лидерами-визионерами и прагматиками (Wickham-Crowley 1992, Selbin 1993, Gould 1995, Goldstone & Tilly 2001).

В вышеизложенный список включены не только структурные факторы, но и условия, связанные с лидерством, идеологией, культурой и коалициями. Одних лишь характеристик режима явно недостаточно для того, чтобы предсказать, когда и где произойдет революция; революциям подвержены и колониальные, и коммунистические режимы, и диктатуры сильной личности. Европейские демократии были сметены фашистскими и нацистскими революциями, в то время как демократии в Латинской Америке – например, в Перу и Колумбии – пытаются защитить свои территории от вооруженных революционных движений (McClintock 1998). Напротив, многие режимы сильной личности существовали десятилетиями (Snyder 1998). Кроме того, последствия революций также нереально вывести из структурных условий. Установление демократии или диктатуры, война или мир, решение гендерных проблем, характер нового режима, будь он исламский, коммунистический или либеральный, представляются случайными последствиями решений, принятых революционными лидерами, иностранными державами и сторонниками из числа народа, а также взаимодействия между ними (Karl & Schmitter 1991, Selbin 1993, Linz & Stepan 1996, Aminzade et al 2001b). Таким образом, те исследователи, которые указывали на необходимость сочетания структурного и личностного подходов к объяснению смены режимов, могут считать себя отмыченными (Karl 1990, Kitschelt 1992, Emirbayer and Goodwin 1994, Foran 1997c, Selbin 1997, Snyder 1998, Mahoney & Snyder 1999).

Поэтому в теории революции четвертого поколения следует пересмотреть все ключевые допущения Скочпол. Стабильность следует рассматривать как неочевидное состояние, учитывая широкий диапазон факторов и условий, приводящих к отходу от стабильности, и признать, что процесс революции и ее последствия зависят от групповой идентификации, связей и коалиций, лидерства и конкурирующих идеологий, а также взаимодействия между правителями, элитами, группами населения и зарубежными державами в ходе реакции на начавшийся конфликт.

### *Проблема стабильности*

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Эти слова, которые Толстой написал о семьях, вполне применимы к государствам и нациям. Стабильность режима определяется коротким и непротиворечивым списком условий: действия правителей представляются как эффективными, так и справедливыми; большинство представителей военной, деловой, религиозной, интеллекту-

альной и профессиональной элит лояльны режиму; большинство групп народа пользуются стабильными либо улучшающимися и справедливыми условиями в отношении работы, дохода и взаимосвязей с правителями и элитами. Государство, отвечающее этим условиям — «счастливое государство», будь то диктатура или демократия, однопартийное государство или военный режим, традиционная империя или конституционная монархия.

Когда эти условия начинают деградировать, стабильность снижается. Перечень факторов, которые приводят к деградации, очень велик: он начинается глобальными преобразованиями экономики или политической системы и заканчивается локализованной коррупцией либо неудовлетворительными реформами, проведенными правящей кликой. Любые факторы, вызывающие перенапряжение военных или финансовых возможностей режима, могут вести к неэффективности; любые действия, нарушающие нормы традиций или закона либо причиняющие неожиданный ущерб, могут подорвать представления о справедливости режима. Изменение макроуровневых условий, таких как трудности с поиском работы, снижение реальных доходов или усиленная борьба элиты за должности, может привести к обвинениям и в несправедливости, и в неэффективности. Изменение микроуровневых условий, например, распространение представлений об уязвимости режима и усиление солидарности как в пределах существующих связей, так и поверх них, может убедить людей выступить против режима. Точное сочетание факторов, вследствие которого конкретное государство становится «несчастливым», может быть весьма специфическим для данного режима — в сущности, даже упоминаемые у Скокпол грандиозные революции в России, Китае и Франции демонстрируют различное сочетание факторов, каждый из которых был задействован в разной степени (Goldstone 1997a, Mahoney 1999).

С такой точки зрения стабильным будет не инертное государство, а то, в котором поддерживается успешный процесс постоянного воспроизводства социальных институтов и культурных ожиданий (Thelen 1999). Именно неспособность продолжать этот процесс, а не какое-либо конкретное сочетание случайных факторов и условий, ведет к государственным кризисам.

#### *С точки зрения процесса: революция как феномен в развитии*

Как только режим лишается важнейших условий стабильности, начинается процесс мобилизации оппозиционных сил и борьба, которые, в свою очередь, влияют на представления действующих лиц и их взаимоотношения. В ходе этой борьбы представители оппозиции, правители и контрдвижения пользуются идеологиями, стараются вступить в союз с различными группами и течениями и конструируют чувство справедливости и неизбежного триумфа своего дела. В некоторых случаях оппози-

ции удается привлечь сторонников, а государство теряет их только после долгой борьбы; в других случаях представления и действия сменяют друг друга так быстро, что государство разваливается с ошеломляющей скоростью. Какие участники процесса и в каком количестве отказывают режиму в поддержке; какие лидеры и фракции начинают доминировать в революционной коалиции; какие зарубежные державы стремятся вмешаться, на чьей стороне и в какой степени — все это определяет контуры революционной борьбы и ее последствия.

Если все эти соображения имеют силу, то будущим теоретикам революции придется разрабатывать отдельные модели для условий недееспособности государства, для условий мобилизации конкретных видов и масштабов и для факторов, определяющих различные диапазоны революционных исходов, каждый из которых может быть результатом случайных последствий предыдущих этапов в развитии революции.

К счастью, известным ключом к этой динамике служит анализ рационального выбора и связей. Главенствующую роль в этих процессах, очевидно, играют авангардные группы, межличностные связи и межклассовые коалиции; без них революция едва ли способна развиваться. Кроме того, к различным последствиям может приводить идеология и организационная позиция ключевых действующих лиц. Передача власти Нельсону Манделе по взаимной договоренности и прагматичное руководство Африканского Национального Конгресса с большей вероятностью привели бы к установлению демократического режима в Южной Африке, нежели насильственное перераспределение власти в пользу более радикальных черных движений, таких как Организация народа Азании. Аналогичным образом американская поддержка умеренных прагматиков на Филиппинах и поддержка народом Корасон Акино сделали демократический исход более вероятным, чем в том случае, если бы коммунистическая Новая народная армия захватила власть, отобрав ее у все более неэффективного и непопулярного режима Маркоса, поддерживаемого США.

#### *Теория революции как инструмент предсказания*

Учитывая важную роль лидерства, сложные механизмы действия и реакции, а также возникновение в ходе революции новых представлений и коалиций, многие авторы указывают, что предсказать революцию невозможно (Keddie 1995a, Kuran 1995a, Tilly 1995). Другие утверждают, что если бы мы знали, какие условия необходимы для стабильности государства, то будет возможно пусть не однозначное предсказание, но хотя бы вероятностный прогноз (Collins 1995, Goldstone 1995). Настало время определить, кто же здесь прав.

Голдстоун (Goldstone 1991, 1998a) указал, что для широтной оценки вероятности революционного кризиса в ситуациях, варьирующихся от ранних монархий нового времени до распада Советского Союза, можно применить трехфакторную модель, отслеживающую финансовое здоровье, кон-

курентную борьбу элит за должности и благосостояние народа. Еще более поразительно то, что с помощью семейства количественных моделей, разработанных Рабочей группой по вопросам несостоятельности государств, в которых используются различные сочетания факторов с целью оценить эффективность государственных институтов, благосостояние народа и конфликты между элитами, удалось точно предсказать более 85 % крупнейших государственных кризисов, случившихся в 1990–1997 гг., опираясь на модели, основанные на данных по 1955–1990 гг. (Goldstone et al 2001). Однако Рабочая группа, несмотря на серьезные достижения в предсказании собственно государственных кризисов, безуспешно пыталась предсказать размах и финальные последствия этих событий, исходя из предкризисных условий. Тем самым еще раз подтвердилось упомянутое выше существенное различие между государственным кризисом и развитием революционного конфликта.

Из вышесказанного следует, что, несмотря на многообразие причин государственных кризисов, модели, связанные с мерой стабильности режима, все же могут дать оценку того, становится ли государственный кризис более или менее вероятен со временем. Однако будущие революции, скорее всего, еще не раз застанут нас врасплох.

Еще одно преимущество подхода, связанного с условиями стабильности и не требующего учитывать многочисленные факторы, которые могут вести к кризису государства, состоит в том, что такие модели обладают фрактальностью по отношению к социальной структуре, которая оказывается подобна самой себе в различных масштабах. Иными словами, общество можно представить состоящим из правителей, элит и народа, но то же самое можно сказать в отношении провинций, городов и различных формальных организаций. Модель социальной стабильности (в противоположность причинам национальных революций) может сохранять адекватность при самых разных социальных масштабах (Goldstone, in preparation). Голдстоун и Усим (Goldstone & Useem 1999) показали, что вероятность тюремных бунтов в учреждениях строгого режима можно предсказать с помощью разновидности модели государственной стабильности. Модель тюремной стабильности, включающая оценку эффективности тюремной администрации, меру недовольства тюремной охраной (которая играет роль элиты), и представления заключенных о тюремном режиме, гораздо лучше объясняет, почему в тюрьмах происходят бунты, нежели подходы, основанные на характеристике заключенных или различных моделях тюремной власти.

Фрактальный анализ может оказаться полезным развитием теории революции в двух отношениях. Во-первых, Голдстоун (Goldstone 1991) предположил, что причина, по которой революции ведут к столь масштабным преобразованиям, заключается в том, что во время крупнейших социальных переворотов социальный строй разрушается одновременно на множестве уровней, то есть административная эффективность, лояльность элиты, благосостояние народа и представления о справедливости

деградируют одновременно на национальном, региональном и местном уровнях организации. Сопоставление условий стабильности в разных масштабах может дать информацию о степени социального переворота и преодолеть раскол между микро- и макроуровнем при исследовании государственного кризиса. Во-вторых, поскольку в обществе существует множество различных иерархических организаций (таких как государство, деловые организации, военные организации, школьные системы, системы здравоохранения, частные корпорации, тюремные системы), теории об условиях стабильности могут пригодиться и при объяснении стабильности многих негосударственных организаций.

### **Заключение**

Судя по всему, третье поколение теорий революции сходит со сцены. Ни одной общепризнанной теории четвертого поколения еще не создано, но контуры такой теории ясны. Стабильность режима в ней будет рассматриваться как неочевидное состояние и существенное внимание будет уделено условиям существования режимов в течение длительного времени; важное место займут вопросы идентичности и идеологии, гендерных проблем, связей и лидерства; революционные процессы и последствия будут рассматриваться как итог взаимодействия многочисленных сил. Что еще более важно, не исключено, что в теориях четвертого поколения будут сочетаться результаты ситуационных исследований, модели рационального выбора и анализ количественных данных, а обобщение этих теорий позволит охватить такие ситуации и события, о которых даже не упоминалось в теориях революции прошлых поколений.

*Перевод с английского Николая Эдельмана*



АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ

## Триггеры абсолютных событий

### I.

Рассуждения о революциях часто бывают отягощены грузом традиционных понятий. Это неудивительно. «Век революций», как бы ни определять его календарные сроки, — это и есть время формирования основных понятий европейской и, шире, всей западной социальной науки. Но вот *определить*, что такое революция, достаточно трудно, если придерживаться сугубо научной процедуры. Можно ли отождествлять революции со сменами политических режимов? Нужно ли говорить о революциях только тогда, когда к политическим добавляются глубокие социально-экономические преобразования? Имеет ли смысл суждение о революции, растянувшейся на долгие годы, и чем такая революция при всей ее радикальности отличается от эволюции? Можно ли называть революцией то, что *не удалось* или всякого рода откаты, поражения, отступления предполагаются самой ее природой? Эти и подобные им вопросы могут быть умножены, и на них могут быть даны более или менее убедительные ответы. Но что такое «убедительный ответ»? Это ответ, формулы которого апеллируют, говоря словами Р. Рорти, к некоторому конечному словарю. Если мы соглашаемся, что у революции должны быть «движущие силы», то значимым объяснением будет то, в котором вскрыты эти «силы». Если нас может удовлетворить только концепция «механизма», значимым объяснением будет то, в котором описывается «механизм» революционных преобразований. Важно заметить, что значимое объяснение — не всегда правильное, оно может быть также и спорным. Но если оно не оперирует формулами конечного словаря, то не считается даже ошибочным, а просто вообще не рассматривается как объяснение.

Это налагает существенные ограничения на возможности исследования: сколько бы ни было разнообразия в части установления фактов, самая область возможных фактов всегда остается той же самой. Напротив, любая попытка выйти за пределы привычного категориального аппарата может изменить область значимых объяснений и релевантных

фактов, но при этом рискует оказаться также и за пределами конечного словаря, предлагая в виде объяснения то, что интуитивно не может быть принято в виде такового адресатами научных суждений. Попробуем тем не менее в связи с революциями, сосредоточиться не столько на возможностях убедительного ответа, сколько — если вспомнить известную остроту Б. Брехта, — на формулах «убедительного вопроса». Иначе говоря, мы рискуем предположить, что в отношении революции, как и ряда других важных социальных событий, требуется в первую очередь изменение конечного словаря, а не новый подбор и распределение фактов и объяснительных средств внутри знакомого поля.

Здесь требуется только одно уточнение. Не является ли в таком случае и само понятие революции одним из тех традиционных средств освоения мира, которое тогда тоже должно быть поставлено под вопрос, или, иначе говоря, не имеет ли смысл любой разговор о революции только при условии использования тех самых понятий, ограниченность которых мы зафиксировали в начале? Однозначно исключить это, конечно, нельзя. Однако есть и другая возможность. «Революция», если использовать термин Ханса Блюменберга, — не столько понятие, сколько *абсолютная метафора*. Блюменберг говорит, что метафоры могут принадлежать к *основному составу* философского языка, могут быть переносами, которые нельзя вернуть обратно, в область логического.

Пожалуй, демонстрация таких абсолютных метафор могла бы побудить нас вообще заново продумать отношение между фантазией и логосом, а именно в том смысле, чтобы рассматривать область фантазии не только как субстрат трансформаций в понятийное — при которых, так сказать, разрабатываются и преобразовываются мог бы элемент за элементом, вплоть до исчерпания запаса образов, — но как катализирующую сферу, в которой, правда, мир понятий постоянно обогащается, но не преобразует и не истощает этот основной фонд<sup>1</sup>.

Абсолютность метафор есть не столько сохранение определенного состава вечных символов, устойчивых переносных значений, сколько неизбежность балансирования между прямым и переносным. Рутинизация использования метафорических выражений, привычное употребление одних и тех же терминов, заставляющее забыть их метафорический смысл, приводит к тому, что с переносным значением работают, как с собственным. Метафору как понятие включают в дедукции, уточняют объем, строят целые концептуальные схемы, основанные на его толковании. Постепенно образный, переносный характер значения стирается. При этом не всегда бывает так, что движение идет только в одну сторону, от метафоры к понятию. Встречаются и противоположные случаи: поначалу строго научный термин, имеющий совершенно определенный смысл, используется во все более метафорическом значении. При этом

<sup>1</sup> Blumenberg H. Paradigmen zu einer Metaphorologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1998. S. II.

остается как бы воспоминание о научном характере термина, и апелляция к его научному генезису является важной составляющей риторики, в которой понятие замещается метафорой. Возможно, так именно и произошло с «революцией». Допустим, что собственно научным было и остается только одно объяснение революции из числа тех, что были упомянуты в самом начале. Отсюда еще не следует, что остальные трактовки совершенно непригодны: риторику нельзя дезавуировать простым указанием на ненаучность, но благородное научное происхождение, безусловно, добавляет силы риторике и метафорике. Поскольку же в современном словоупотреблении нет никакой однозначной связи между «революцией» и привычным социально-экономическим словарем объясняющих ее понятий, ничто не мешает нам дать волю продуктивной фантазии и предпринять новый опыт концептуализации абсолютной метафоры.

## II.

Далее мы будем исходить из того, что революции являются социальными событиями в политическом пространстве. Иначе говоря, «научно-техническая революция», «сексуальная революция», «революция в образовании» не являются для нас собственно революциями, каждая из них — это *метафора* (предположительно, научного) *понятия*, то есть не может быть проявлена до тех пор, пока нет хотя бы относительной определенности с революцией политической. Что же такое политическая революция? Примем как не требующее доказательств утверждение, что политическая революция является в первую очередь *событием*. Событие — это некоторое смысловое единство, коррелятивное *наблюдению*. Наблюдение — это логическая характеристика операции различения. Схемы или основания различения принимаются группами людей, которые, грубо говоря, видят в происходящем *одно и то же*. Именно поэтому — и безотносительно к прочим характеристикам — они называются *сообществом наблюдателей*. С точки зрения логической, сообщество наблюдателей неотличимо от единичного наблюдателя. Логическая характеристика события состоит в том, что для наблюдателя (сообщества наблюдателей) оно выступает как некоторое *свершение*, законченное действие, процесс или состоявшееся изменение (альтерация). В этом смысле хорошо наблюдаемое, различимое событие всегда отдельно, атомарно. Оно не смешивается с другими событиями и (для наблюдения!) сохраняет единство, сколько бы времени оно ни продолжалось.

Будучи отдельным, событие соотносится с прочими событиями. Когда несколько событий рассматривается в совокупности, такое сочетание называется *фигурацией*. Фигурации могут быть последовательными, синхронными или комбинациями того и другого. Последовательная фигурация представляет собой *серию* событий, которая имеет начало и завершение. Завершением, с точки зрения наблюдателя, является последнее в серии событий, которое имеет различимую связь с первым событием в серии. Зависимости между событиями имеют логический и функцио-

нальный характер. *Каузальные* связи между событиями могут быть зафиксированы в последовательных сериях, но не являются ни единственным, ни преобладающим видом связи. Если одно из событий принимается за точку отсчета, то наиболее удаленные от него события, поскольку связь с ними исходного события различима для наблюдателя, могут быть применительно к данной фигурации названы *горизонтом событий*. За горизонтом событий находятся те события, которые неразличимы как события данной фигурации.

В фигурации все события так или иначе соотнесены между собой. Иначе говоря, событие как отдельное событие *предполагает* ряд событий и предполагается другими событиями. Простейший пример этого — падение камня. Если мы фиксируем падение как отдельное событие, то ему не может не предшествовать состояние до падения и состояние после, а значит, и события перехода из покоя в падение и из падения в покой, отличимые от собственно фазы полета. Ни одно из этих событий не является в собственном смысле причиной другого. Они именно логически предполагаются процедурой различения. Нельзя просто сказать: случилось событие такое-то, если не допустить, что оно предполагает ряд других, сопряженных в одну фигурацию событий. Это называется *логическим устройством*, или *логической конструкцией*, события. Логическая конструкция не всегда бывает однозначной. Наблюдаемое событие предполагает иногда целые классы возможных событий, далеко не все из которых действительно произошли. А поскольку фигурация не обязательно бывает видна наблюдателю сразу и целиком, исследование логической конструкции событий позволяет ему только ориентировать свое внимание, определяет среди возможных событий факты, значимые в связи с исходным событием или группой событий.

Обратим внимание на то, что в такой трактовке события оказываются, так сказать, в опасной зависимости от произвола наблюдателя. Может ли быть так, что наблюдатель видит «что хочет», а не «что есть»? Это сложный вопрос, философски корректный ответ на который увел бы нас далеко от нашей темы. Укажем, однако, что есть такая категория событий, которые словно бы навязывают себя наблюдению, не заметить которые довольно трудно. В самом общем смысле такие события мы называем «абсолютными». Конечно, подобно абсолютной метафоре, и абсолютное событие лишь настолько абсолютно, насколько речь может идти об осмысленном наблюдении и описании мира определенным сообществом наблюдателей. Можно ли говорить о нем также и в некотором высшем, безусловном смысле? «Дальнейшее — молчанье», поскольку мы остаемся в пределах нашей науки. Но каково же абсолютное событие в условном, ограниченном смысле? В предлагаемой терминологии это событие, предельное для данной фигурации. Предельными событиями являются события с асимметричной логической конструкцией. Сами они входят в логическую конструкцию всех событий данной фигурации, но в их собственную логическую конструкцию входят события, принципиально

невозможные в данной фигурации. Такими абсолютными событиями являются рождение и смерть, основание, а также явление трансцендентного в имманентном (сакральное событие).

К абсолютным событиям зачастую можно отнести и события политические. Выше мы уже указали, что они происходят в политическом пространстве. Теперь мы можем это прояснить. Политическое пространство есть пространство событий власти, которой сообществом наблюдателей вменяется легитимность. Власть является событием, экстраординарным по отношению к рутине социальной жизни. Иначе говоря, логическая конструкция политического события такова, что ее неизменным аспектом является власть, нарушающая некий привычный ход вещей. Власть в предельном осуществлении — это возможность причинения абсолютного события: смерти. Каузальность власти связана как раз с этим потенциалом причинения смерти, которая остается в горизонте возможных событий и как таковая окрашивает собой прочие действия.

*Потенциальное* в понятии власти важнее *каузального*. Еще сто лет назад Георг Зиммель замечал, что угрозу жизни неудобно использовать, потому что она предполагает, будто тот, кому угрожают, безусловно сделает выбор в пользу жизни и подчинения, но если он предпочтет смерть, то власть будет означать лишь способность властвующего его убить, но отнюдь не его готовность подчиниться. Классическое (хотя и не бесспорное) определение власти у Макса Вебера неслучайно связано не с актуальным силовым действием, но с шансом: «*Власть* означает любой шанс осуществить свою волю в рамках некоторого социального отношения, даже вопреки сопротивлению, на чем бы такой шанс ни был основан» («Хозяйство и общество», гл. 1, § 16)<sup>2</sup>. Иначе говоря, если происходит событие, в котором используется «шанс власти», то *причины* того, почему одному участнику удалось навязать свою волю другому, могут быть самыми разными. Но для наблюдателя важно, что ресурсы властвующего реализовались именно в событии осуществления власти как предельной (не реализованной) возможности лишить подвластного жизни. Для наблюдателя также важно, что если воля не навязана, но власть существует как шанс ее навязать, то течение событий связано с ориентацией на этот шанс.

Все эти разъяснения не будут иметь, однако, никакой ценности, если мы просто отождествим властное и политическое. Очевидно, что политические события (которые у нас пока еще никак не квалифицированы) вторгаются в область неполитического повседневного опыта, поэтому мы можем говорить об их экстраординарном характере. Очевидно, что и власть также вторгается в область повседневного опыта, поэтому мы говорим об особом месте власти в логической конструкции экстраординарных событий указанного выше рода. Но являются ли все экстраординарные события,

<sup>2</sup> См. в русском переводе: Вебер М. Основные социологические понятия // Теоретическая социология. Антология / Под. ред. С. П. Баньковской. М.: Книжный дом «Университет». Ч. 1. С. 137.

связанные с властью, политическими? — Разумеется, нет. Мало того, если политические события, каковы бы они ни были, образуют, так сказать, *политическую рутину* или если повседневный опыт настолько пронизан вмешательствами как политической, так и неполитической власти, то сохраняется ли силу все наше предшествующее рассуждение?

Будем исходить из того, что не всякая власть является политической властью и не всякое событие, меняющее привычный ход вещей, является политическим. При всей очевидности этих положений, они ведут нас к важному выводу: поскольку мы ограничиваем наблюдение тем уровнем, где вмешательство в естественный ход событий означает власть над телом, политическое не наблюдаемо. Это не значит, что политическое здесь становится неполитическим. Это значит, что оно является неполитическим для некоторого сообщества наблюдателей, неспособного выйти за пределы данного взаимодействия и не усматривающего в событиях властного вмешательства более широкий, *политический* смысл. Это хорошо известно историкам бурных политических событий, в том числе и революций: очевидцы чаще повествуют о насилии как таковом, чем о его политической квалификации, не говоря уже о квалификации его как революции. Никакого противоречия здесь нет, как нет и никакой «последней правды» истории: жертва прескрипций или реквизиций может усмотреть в них не более политического смысла, чем в обычном грабеже или убийстве; массовые волнения, мятежи, перевороты — все это может вовсе не распознаваться как революция. В чем разница между просто властным событием и политическим событием? В логической конструкции. В логическую конструкцию политического события входит ненаблюдаемое, точнее говоря, то, что не может наблюдаться непосредственно. Непосредственно наблюдаются *тела и места*, так что и насилие, и вмешательство — все это происходит с вот этими людьми в этом месте. Политическое же имеет отношение к *полису*, к некоторому политически квалифицированному *месту мест*: региону *легитимной* власти. Это предполагает особый род наблюдения, дифференцирующего простое насилие (актуальное или потенциальное) и легитимное насилие, источником которого может быть только признанная, а не просто превосходящая власть<sup>3</sup>.

Но не получается ли тогда, что политическая жизнь вовсе невозможна иначе, кроме как в форме вмешательства легитимной власти в неполитические по сути дела? Такое суждение было бы логически оправданным, если бы мы как исследователи становились на точку зрения гипотетического абсолютного наблюдателя, которому точно известно, например, какие события являются политическими, а какие — нет. Между тем политическое — это именно то, что наблюдается как политическое. Если речь идет о политической борьбе, например, в государстве, то любое событие лишь потому оказывается именно политическим, что таковым его называ-

<sup>3</sup> Подробнее см.: Филиппов А. Ф. Пространство политических событий // Полис. 2005. № 2.

ет сообщество наблюдателей. Сравним два события: голосование на очередных парламентских выборах и убийство лидера политической группировки. Первое, несмотря на весь его рутинный характер, экстраординарно по отношению к повседневной рутине неполитической жизни граждан. По сути дела, их участие в выборах декларируется как изъявление политической воли народа, вторгающегося в рутину технического, неполитического управления властным решением по поводу ключевых фигур и стратегии решения политических вопросов. Можно сколько угодно разоблачать «неподлинность» такого описания современной публичной политики. Одно очевидно: стоит лишить ее этого измерения, и политика будет сведена к технологии эффективного управления. Это не говорит ни в пользу политики, ни против технологии. Просто одно не равно другому, и связи событий, возможные по их логической конструкции, в обоих случаях разные<sup>4</sup>. Теперь посмотрим на ситуацию с убийством лидера. Несмотря на экстраординарный характер (а прекращение физического существования есть, как мы помним, абсолютное событие), оно может оказаться вполне рутинным делом, например, если он гибнет во время массовой резни, а не в результате покушения, спланированного его противником. Но станет ли оно от этого неполитическим? Все зависит от сообщества наблюдателей. В определенных ситуациях никакое происшествие, случившееся с политически значимой фигурой, не будет идентифицировано неким сообществом наблюдателей (будь то сторонники этого деятеля, ангажированные журналисты или неискушенные, но политически возбужденные граждане) иначе, как прямой результат действия инстанций власти. Однако для других наблюдателей это происшествие оказывается политическим не само по себе, но только из-за того, что оно будет иметь следствием именно такую квалификацию события этими сообществами. Поэтому, как видим, власть недостаточно назвать потенцией вмешательства. Такое обозначение еще слишком сильно связано с традиционным каузальным подходом: есть события-причины и есть события-результаты, у причин есть так или иначе называемый субъект, в социальной жизни, как правило, обладающий сознанием и волей. Эта схема рассуждений не так уж плоха. Мы знаем, что и это бывает: есть человек или группа лиц, обладающих полномочиями. Есть готовность использовать полномочия. Есть результаты их действий — иногда хорошо различимые (как, например, арест в результате судебного решения и основанного на нем приказа об аресте). Но каузальные связи, как мы уже говорили выше, — это только один из видов связи событий. Поэтому их не стоит универсализировать. Многие виды коллективного поведения не вызваны к жизни субъективно вменяемой сознательной волей. Это не значит, что здесь нет политики и нет власти. Но не для всякого наблюдателя связи политических собы-

<sup>4</sup> См. подробнее в связи с классической работой Карла Шмитта: Филиппов А. Ф. Техника диктатуры: к логике политической социологии // Шмитт К. Диктатура. СПб.: Наука, 2005.



тий будут иметь характер каузального вменения. Паника, погромы и прочие движения, которые атрибутируются *толпе*, могут иметь или не иметь далеко идущих политических следствий. Тем более нужна особая направленность взгляда, чтобы различить в них единое действие причиняющей воли. Одни наблюдатели его различают, другие — нет.

Но что же тогда можно говорить о политике и власти, если каузальная связь как таковая лишена достоинства самоочевидности? Не ставится ли тем самым под сомнение все предшествующее рассуждение о политике? Нет, не ставится, если мы стоим на позициях теории события. Ведь в отличие от абсолютных событий, само свершение которых безусловно, так что идентификация их в наименьшей степени зависит от произвола наблюдателя, все прочие события, в том числе и те, что *как бы* причиняют события абсолютные, коррелятивны наблюдению. Иначе говоря, вмешательство в ход событий, конечно, есть признак власти. Но будет ли в течении событий усмотрено такое вмешательство, зависит от характера различений и логических конструкций. Смерть есть абсолютное событие. Но наступила ли смерть в результате властного причинения (не говоря уже о том, было ли властное причинение политическим) — это усматривается или не усматривается наблюдателем. Меняет ли это что-либо в нашем определении власти? Скорее, речь может идти о переопределении. Вопрос состоит не в том, имелся ли у кого-нибудь или нет потенциал причинения смерти. Дело в другом: *усматриваемая власть включается в формулу логической конструкции событий как ее новый и необходимый компонент*. Вместо того чтобы искать *подлинный субъект* властного действия, мы должны задать себе вопрос: относятся ли наблюдатели к релевантным событиям как событиям, определяемым (полностью или частично) властным вмешательством в обычный ход дел, в рутину повседневной каузальности? Или, если воспользоваться языком Гофмана, транспонирован ли фрейм ожидаемого хода событий во фрейм ожидаемого-с-вмешательством-власти хода событий? Относится ли сообщество наблюдателей к этой власти как власти, сконцентрированной в конечной инстанции признанного насилия? Соотносит ли оно инстанции вменяемой (то есть усматриваемой как источник действия-вмешательства) власти с регионом ее признания? Или, иначе говоря, приписывает ли оно совершение определенных событий некоторому различимому *локалу*, то есть региону, смысловые границы которого отделяют области разрешенных, допущенных, а не просто рутинизированных, событий от всех остальных.

Конечно, чтобы такое включение власти в логические конструкции было возможным, необходима стабильная готовность сообщества наблюдателей к соответствующим различениям. Точно так же необходима стабильная готовность идентификации власти как власти политической. Иначе говоря, должен быть фрейм политических событий. Но одно дело — рутинная готовность обнаружить конструкцию политического в том или ином событии, другое дело — актуализация этой готовности в определенных обстоятельствах. Так, одни и те же люди в разных обстоятельствах

будут называть один и тот же вопрос (например, об изменении процедуры уплаты некоего налога) то техническим, то политическим. Чтобы прояснить существо этого подхода, обратимся к случаю, казалось бы, очевидному. Событие смерти, как мы несколько раз говорили, абсолютно. Но что стало ее причиной? Ответом может быть ссылка на смертельную болезнь. Но что стало причиной болезни? Почему она привела к смерти именно сейчас? Почему в случаях, во всем остальном весьма сходных, она либо не начиналась вовсе, либо начиналась раньше или позже, либо излечивалась, либо гораздо раньше оканчивалась смертью больного? Нередко, отвечая на эти вопросы, даже искушенные доктора заговаривают о «Божьей воле». Но почему была именно такова эта воля? Даже в религиях с развитой и практически разработанной теодицеей, на этот вопрос не всегда может быть получен ответ, удовлетворяющий данное сообщество наблюдателей. Дело, однако, в том, что при таком повороте взгляда само событие вроде бы не меняется, меняется по крайней мере отчасти его логическая конструкция. Так же обстоят дела и с властью, которой могут приписывать или не приписывать действия в обстоятельствах, которые могли бы развиваться и без ее участия. Для того чтобы увидеть власть в логической конструкции событий, надо задаться тем же самым вопросом, что и в случае болезни: почему именно это приключилось именно с этим человеком (объектом может быть, конечно, не только человек, но и любая релевантная совокупность явлений)? Почему именно сейчас? Иначе говоря, власть усматривают не там, где каузальная связь как таковая не вызывает сомнений и наблюдается во множестве случаев, а там, где ставится вопрос о природе *индивидуального* события.

Итак, если событие считается выламывающимся из рутины (взламывающим фрейм), оно нарушает логическую конструкцию (например, мы говорим: как мог умереть от пустяковой болезни такой здоровяк? как мог возникнуть экономический кризис в ситуации надежного процветания?). Одним из способов ее восстановить, является апелляция к волевому действию (наверное, говорим мы, не обошлось без ошибки врачей, без божественной кары за грехи, без сглаза и, соответственно, наверное, не обошлось без подрывной деятельности, без спекулятивной активности, без борьбы кланов и т. п.). Вот эта дополнительно конструируемая и часто надежно фиксируемая наблюдателями потенция называется у нас властью. Политической властью, как мы видели, эта потенция может быть, только будучи распознана как признанная.

Но почему вообще ставится вопрос о признании? Формула вмешательства в логической конструкции события, о которой мы говорили выше, сама по себе означая власть, требует, как мы видели, особой ситуации вмешательства. Самая возможность вмешательства означает, что власть есть, то есть и прежде существовала как возможность. Эта возможность, конечно, могла реализовать себя впервые именно в данном случае. Но, скорее, в *каждом* данном случае вмешательство власти — это, хотя и индивидуальное, единичное событие, но тем не менее событие, отсылающее

к прецедентам. Одно то, что в уникальном обнаруживается повторяющееся, позволяет конструировать власть как *состояние* можествования. Именно в связи с условиями можествования мы и говорили о признании. Признание означает не только потенцию на стороне инстанции власти, но и готовность к повиновению на стороне тех, кто ей подчиняется. Иначе говоря, признание — это готовность транспонировать логическую конструкцию событий, готовность распознать в наблюдаемом ходе событий некую иную природой событий, как они распознаются наблюдателями, изначально не предполагаемую конструкцию. Так, например, Признание власти не просто превосходящей, но и политической, означает, однако, нечто большее, чем просто отнесение ее к пространству полиса. Если вмешательство власти само есть род рутин, вроде того, как рутинным делом является действие уличного регулировщика или охранника, в том числе и в ситуациях, когда обычным образом нарушается обычный порядок<sup>5</sup>, то эти действия, пусть даже авторизованные в конечном счете инстанцией верховной власти, являются не политическими, а полицейскими. Политическое появляется лишь там, где под вопрос ставится само устройство полисного порядка. Молчаливое, фоновое признание сложившегося порядка вещей — в том числе и полицейского вмешательства — не является политическими, и никакие события, в логическую конструкцию которых входит такое признание, тоже не являются политическими.

Значит, чтобы событие было распознано как политическое, необходимо что-то еще. Это «еще», как представляется, невозможно ни просто распознать в данной констелляции событий, ни в логической конструкции, полученной через транспонирование обычной рутин в фигурацию применения власти, отсылающую к голой потенции вмешательства. Карл Шмитт в одной из поздних работ говорил о «добавочной ценности» (то бишь «прибавочной стоимости»)<sup>6</sup>, том самом «нечто», которое не сводится к простой готовности повиновения. Никлас Луман говорил о власти как *среде*, то есть совокупности элементов, которые могут быть сцеплены между собой жестко (и тогда мы говорим о политической системе) или более рыхло (и тогда мы говорим о среде власти, в которой только возможна кристаллизация более жестких сцеплений)<sup>7</sup>. Это только примеры того, как вдумчивые авторы усматривают принципиальное различие между массой единичных случаев и тем общим состоянием, которое необходимо охарактеризовать, не отказываясь тем не менее от логики исследования наблюдаемого и уникального. Вопрос о политической власти ставится, следовательно, как вопрос о готовности наблюдателей

<sup>5</sup> Например, мы знаем, что рядом с *этим* кафе по вечерам обычно случаются драки, а в поездах такого-то направления обычны случаи воровства.

<sup>6</sup> См.: Schmitt C. Gespräch über die Macht und den Zugang zum Machhaber. Gespräch über den neuen Raum. Berlin: Akademie-Verlag, 1994. S. 15.

<sup>7</sup> Luhmann N. Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2000. Kap. 1.

совершить еще одну итерацию: от констелляции превосходства перейти к формуле власти, а от формулы власти — к формуле политической власти. Такая готовность, по идее, присутствует среди вменяемых граждан всегда. Но она актуализируется лишь постольку, поскольку самоочевидное поставлено под вопрос. Поскольку в каждом данном событии при любых обстоятельствах усматривается распределение потенциалов вмешательства, политически значимое ставится под вопрос как общая формула локального порядка. Иначе говоря, если нарушение рутины приводит к рутинному же вмешательству полицейской власти, то проблематичность полицейской рутины оборачивается политическим вмешательством. Политическая власть обнаруживает себя, таким образом, в тех событиях, когда вопрос ставится о власти над властью, то есть как при восстановлении рутины властного вмешательства (например, направление специальных подразделений на помощь полицейским нарядам при беспорядках — это политическое решение, соответствующее политическому характеру события), так и при полном переформатировании этого вмешательства (например, замена ключевых чиновников в различных органах исполнительной власти — это всегда политическое событие, независимо от того, произошло ли оно в связи с очередными выборами или по решению, вызванному интригами). Но подобно тому как полицейское вмешательство может быть рутинным, своеобразной рутинной становится и вмешательство политическое. Если представить себе это очень грубо как иерархию ступеней вмешательства в логической конструкции события, то их окажется всего три, потому что власть над властью замыкает этот логический ряд внутри региона. Если же и здесь возникают нарушения, это грозит революцией.

### III.

Что же нужно, чтобы революция была распознана как таковая? Очевидно, что должен быть некий взгляд на нее как на политическое событие особого рода, взгляд, который может быть даже изначально присущ некоторому узкому сообществу наблюдателей, но который только со временем получает широкое распространение. Что же это за взгляд? Из того, что было сказано выше, следует, что это взгляд на некую череду событий<sup>8</sup>

1. как на некое единое событие, которое, может быть, и членится на эпизоды, но эти эпизоды суть логически несамостоятельные фрагменты единого события революции;
2. как на политическое событие, то есть событие, в логическую конструкцию которого входит власть во всех смыслах: а) способность прервать череду обыденных событий; б) потенция прерывания физическо-

<sup>8</sup> Говоря таким образом о некой череде событий, мы отнюдь не утверждаем, что «на самом деле» за единством скрывается множество. Никакого «на самом деле» здесь нет, есть лишь указание на необходимость смены перспектив описания.

го существования, усматриваемая во властном событии; в) потенция легитимного насилия во всех его формах; г) потенция восстановления полицейского порядка в данном локале легитимности;

3. как на абсолютное политическое событие.

Это последнее обстоятельство является парадоксальным. Дело в том, что политические события, как мы видели, включают в логическую конструкцию существование признанной легитимной власти. Абсолютное событие в свою очередь включается в логические конструкции прочих событий, но не включает их в себя — именно в данной фигурации. Если легитимная власть — это не состояние, но потенциал признанного вмешательства, распознаваемый в логической конструкции событий, то революция не может быть политическим событием: находясь на горизонте событий данной фигурации, она не отсылает к существованию легитимной власти, то есть власти, распознаваемой как легитимная в событиях данной фигурации. Вместе с тем революция не может не быть политическим событием, потому что события власти представляют собой не только моментальную фигурацию, но последовательность, и в начале серии, на горизонте фигурации логической конструкцией предполагается событие *основания*.

Основание отсылает к тому, что принципиально не могло войти в данную фигурацию. В череде политических событий оно само бесосновно: голое насилие, которому могут быть приписаны моральные, религиозные, экономические и прочие оправдания, но которое по самой сути своей, как радикальная цезура порядка, не может, даже будучи морально оправданным, быть также и политически легитимным. Конечно, есть, как мы видели, такие политические события, наблюдатели которых усматривают действие или потенциал действия легитимной власти там, где этого не видят другие. Но революция должна быть свержением одной легитимной власти и установлением другой. Пусть прежняя или новая власть некоторым сообществом наблюдателей считается нелегитимной (случай, как мы знаем, не то что нередкий, но прямо-таки предполагаемый революциями). Однако же не бывает так, чтобы даже те, кто не признает легитимность новой или старой власти в юридическом смысле, не признавали бы ее и, так сказать, социологически, то есть не отдавали себе отчета в том, что для другого сообщества наблюдателей легитимной является именно другая власть, отчего, в частности, и приходится вести с ним борьбу. Этот социологически-эмпирический аспект легитимности не следует смешивать с юридически-идеологическим. Полный беспорядок, полное отсутствие признаваемой кем бы то ни было легитимной власти в регионе прежде существовавшего государства возможно. Полный беспорядок и отсутствие легитимной власти в каком бы то ни было регионе внутри региона прежде существовавшего государства — это явление более редкое и менее интересное, потому что о смерти государства тогда можно говорить, но о революции — не приходится.

И все-таки, так сказать, с другой стороны, революция оказывается *прекращением* существования, смертью политического порядка, пределом, горизонтом событий, *пока еще* возможных в этой фигурации. Но для того, чтобы революция могла наблюдаться как политическое событие, здесь тоже нет оснований! Дело даже не в том, что, скажем, совершение переворота, который позже будет объявлен революцией, не может наблюдаться как политическое событие, поскольку не отсылает к действиям легитимной власти. Ведь политическая жизнь и политические события отсылают к действиям власти не только прямо, то есть не только так, что *вменяются* ей как источнику некоторой активности. Речь идет именно о среде или «прибавочной стоимости» власти, о которых мы упоминали выше. Во время революции исчезает не превосходство силы, не возможность вмешательства в рутину (поскольку такая рутина еще сохраняется), даже не потенциал властного урегулирования властных действий. Исчезает именно рутинная логическая конструкция трехступенчатой иерархии власти. Последний этаж, занимаемый сувереном<sup>9</sup>, оказывается местом напряженного противостояния, и это придает некий особый смысл событиям, здесь происходящим. Но выбора нет: политическими могут именоваться либо эти события, относящиеся к экзистенциальному противостоянию врагов, либо события политической рутины, как они были описаны нами выше. Это и есть радикальная цезура порядка.

Теперь мы видим, почему теоретически бессмысленно говорить о причинах революций. Со смертью политического порядка и рождением нового дело обстоит так же, как со смертью и рождением человека: ближайшиe причины понятны, непонятно только «почему именно здесь и именно сейчас», непонятны причины причин, приведших к такой индивидуализации каузального ряда. Разумеется, это рассуждение не надо понимать слишком примитивно. Например, если человек спрыгнет с крыши многоэтажного дома, он, скорее всего, разобьется насмерть. Но ведь вопрос не в этом, а в том, почему он спрыгнул. Если вести опасный образ жизни, будь то участие в войнах или авантюрах, будь то длительное пребывание в нездоровом климате и неправильное питание, будь то пользование наиболее рискованными видами транспорта или отказ от лечения серьезных болезней, то вероятность кончины, которую принято именовать преждевременной, возрастает, но дело ведь опять не в этом: стопроцентной уверенности в скорой гибели не дает даже это, само понятие нормы применительно к продолжительности жизни исторически и культурно изменчиво, да и сознательный отказ от попыток жить дольше должен тоже быть на чем-то основан. То же самое можно сказать о политическом порядке. Революции всегда неожиданны для

<sup>9</sup> Легко было бы показать, что понятие революции предполагает понятие суверена, так что до формирования современного представления о суверенитете и революций никаких быть не могло. Как не будет их и тогда, когда современное понятие суверенитета полностью размоется отчетливо обозначившимися тенденциями.



современников, и если речь идет всего-навсего об удавшемся заговоре, которого ждали и которому сочувствовали в большинстве своем граждане-наблюдатели, то называть его революцией обычно нет оснований.

Вероятно, здесь можно провести достаточно внятное разграничение. Если в конечном счете сообществом наблюдателей событие идентифицируется как абсолютное, значит, у него не было «автора», его нельзя свести по каузальной цепочке к основной причине, оно было цезурой порядка. Напротив, если можно найти внятные причины, значит, произошло перереформатирование порядка, но не абсолютное событие. Таково большинство политических переворотов, даже если их иногда объявляют революциями.

Критические события-триггеры не вызывают, но *индугируют* абсолютные события, т. е. предполагают возможность перереформатирования всей логической конструкции. Критические события обозначают некий переход в новый формат, которого, собственно, нет. Они отсылают к тому, без чего ординарное событие теряет третье измерение, или третью ступень, в смысловой иерархии всей конструкции. Так, например, бывает, когда событием оказывается *невмешательство* власти: рутина дает сбой, что *индугирует* (не вызывает!) вмешательство власти, она *могла бы вмешаться*, но она *не вмешивается*. Поскольку ожидаемое событие власти, то есть рутина власти, это также некий фрейм, то невмешательство власти взламывает фрейм, в конструкцию которого входила отсылка к принципиально возможному легитимирующему вмешательству. Где нет власти, там под сомнением оказывается власть над властью. Так бывает в периоды массовых беспорядков. Так бывает тогда, когда происходят перебои с жизнеобеспечением. Так бывает во время военных катастроф.

Триггеры другого рода — слишком далеко заходящие политические процессы. Речь может идти о том, что политические события, рассчитанные на символическое присутствие фрейма суверенной власти, по тем или иным основаниям переосмысляются, переконструируются так, что одного только символического присутствия оказывается недостаточно, а привычные комбинации символического и силового оказываются недостаточными. Как конкретно выглядит во всех этих случаях критическое событие или, точнее, критическая фигурация событий, — это дело специальных исследований.

Почему же в одних случаях возникают революции, а в других мы говорим о бунтах и (удачных или неудавшихся) переворотах? Все дело в том, насколько радикально сломан фрейм суверенной власти, легитимирующей политическое вмешательство. Грубо говоря, если речь не может идти ни о какой модификации, восстановлении, переустройстве порядка, то предпосылки для того, чтобы вновь возникающий порядок был воспринят именно как порядок постреволюционный, уже существуют. Это не очень значительный результат, но этот результат дает максимум того, на что способна здесь чистая теория. Все остальное — дело прикладного исследования.



РУСЛАН ХЕСТАНОВ

## Восстание сирот

Существует длительная история революционного сопротивления. Но на каждом новом историческом этапе приходится снова вычерчивать стратегическую нить этих сражений. В Восточной Европе мы столкнулись с событиями, которые не имеют ничего общего ни с виновностью, ни с невиновностью, ни с ответственностью, ни с безответственностью. Морально нагруженные суждения о правых и неправых, о силах прогресса или реакции — крайне затруднены, как и в классической греческой трагедии. Оговорка на этот счет мне необходима лишь для того, чтобы предупредить, что термин «империя» будет употребляться без осуждающих коннотаций, а «революция» — без романтических.

Во многом культ политической корректности, почти безраздельное господство которого утвердилось в социальных науках в 90-е годы, сузил политическое воображение настолько, что многие исследователи позволили себе игнорировать даже тот факт, что национальные государства имеют довольно короткую, приблизительно двухсотлетнюю, историю развития, в то время как имперские государственно-политические образования существуют более двух тысяч лет. Современный мир все еще очень далек от гуманистической, космополитической и демократической утопии. Процессы «балканизации», распада имперских или национально-государственных образований в Европе или Африке сопровождаются практически мгновенной реакцией мощных государств, способных мобилизовать ресурсы для внешней имперской политики. Избегая непосредственного администрирования, они стремятся заполнить образовавшийся политический вакуум и оказывать определяющее влияние, на социально-политическую жизнь народов, не имеющих прочных и стабильных государственных учреждений. Различимая в сегодняшнем мире иерархия суверенитетов, клиентские и даже вассальные формы зависимости одних государств от других свидетельствуют о том, что имперские техники власти сохраняют свою актуальность в международной жизни.

Не вдаваясь в существо дискуссий о том, к каким государственно-политическим образованием приложима квалификация империй,

сошлемся на определение «империи», которое было дано в недавнем коллективном исследовании. Имперским политическим образованием они согласились называть крупную и экспансионистскую политико-государственную организацию, которая воспроизводит социальные различия и неравенство. По их мнению, империями можно также называть такие расширяющиеся образования, для которых состояние неравенства и различия является только определенной фазой исторического развития, поскольку объединение в политическое единство разнородного населения в перспективе может приобрести черты социальной и культурной гомогенности, свойственной национальным государствам. Достигнутое единообразие населения может быть результатом насильственной или ненасильственной ассимиляции. В этом смысле, решающим фактором является способ институционализации различий в процессе созидания империи<sup>1</sup>. Уточнение, что империя может быть некоторой «фазой» становления, подразумевает не только исторические прецеденты в прошлом, но вполне приложима к такому новому квазигосударственному образованию, как Европейское сообщество.

### **Парадигма конкуренции: накопление и интеграция**

Восточноевропейский опыт недавнего прошлого показал, что так называемые «цветные» революции, могут быть объяснены в контексте сложного процесса имперской перестройки в регионе. Имперская перестройка проявилась в одновременности действия нескольких разнонаправленных тенденций – распада, консолидации и конкуренции. Во-первых, очевидно, что процесс распада советской империи – не завершен. В настоящий момент возникшие на ее периферии новые государственные образования, переживают завершающую фазу разложения, о чем, собственно, свидетельствуют, на мой взгляд, «цветные» революции. Во-вторых, центральная часть бывшей империи, в границах РФ, переживает период нестабильной консолидации, исход которой до сих пор неясен. В-третьих, регион Восточной Европы стал странством межимперской конкуренции. Революции и революционные ситуации возникают не только тогда, когда разваливаются империи и государства, но и тогда, когда создаются новые политические организмы, имеющие имперскую морфологию.

Процесс распада советской периферии далек от завершения по следующим причинам. С одной стороны, формальное обретение суверенитета бывшими союзными республиками привело к воспроизводству ими имперской политики и администрирования на собственных территориях. Можно сказать, что на нынешнем этапе целый ряд новых государств региона переживает постреволюционную ситуацию, которая была

<sup>1</sup> Lessons of Empire: Imperial Histories and American Power // Ed. by Craig Calhoun, Frederick Cooper, Kevin W. Moore. New York, 2006. P. 3.

характерна для имперского ядра на рубеже 80–90-х годов, что проявляется в первую очередь в способах политического руководства и администрирования. Как писал Пьер Бурдьё, «постреволюционные ситуации изобилуют многочисленными примерами патетичных и гротескных несовпадений между габитусами, созданными для других должностей, и должностями, созданными для других габитусов». Подобное постколониальное недоразумение, по словам Бурдьё, было характерно для освободившегося Алжира: новые национальные элиты, занявшие должности в учреждениях (на фирмах, в армии и других институтах как государства, так и бизнеса), фактически превратились в прежних колонистов. Сформировавшийся политический класс продолжил употребление прежних имперских практик администрирования по отношению к собственному населению, как бы осуществляя акт «повторного завоевания».<sup>2</sup>

Похожие процессы мы наблюдали практически во всех постсоветских государствах. Так, новое руководство Грузии при президенте Звиаде Гамсахурдия фактически инициировало в стране новый, уже локальный цикл распада, когда попыталось создать новую унитарную государственность. Обратим внимание, что именно в этот период, то есть сразу после неудачных военных действий в Абхазии и Южной Осетии, стали появляться доктрины «имперского переключения». Известный грузинский ученый, Гия Нодиа, уже тогда считал, что единственный реалистический способ решения проблем абхазского и осетинского сепаратизма для Грузии — это вхождение в Европейское сообщество. Недавний политический раскол на Украине, которому «оранжевая» революция придала смысл раскола между Востоком и Западом, подтверждает, что перспектива имперского переключения в восточноевропейском регионе возникла не случайно. В регионе появилась новая перспектива или имперская альтернатива, олицетворяемая новым растущим имперским образованием — нынешним Европейским Союзом. Вместе с тем, восстановление государственности и экономической состоятельности России актуализировал также возможность реинтеграции на новых условиях с прежним имперским центром. При этом процесс суверенизации — развития новой национальной государственности — в Грузии или на Украине, в настоящее время рассматривается в качестве третьей возможности лишь политическими маргиналами.

В конце XIX — начале XX века интеллектуалы и политики европейских стран были убеждены, что политический вес и влияние государств определяется в первую очередь их демографической мощью и этнической однородностью. Сегодняшние элиты убеждены, что вопросом выживания становятся проблемы экономического роста, доступности мировых рынков и преодоление экономической изоляции. А потому считается, что выигрышная стратегия подразумевает два фактора: 1) накопление массы капитала, 2) интеграционные усилия, расширяю-

<sup>2</sup> Пьер Бурдьё. Социология политики. М., 1993. С. 294–295.

щие емкость и коммуникации рынков. Схожесть в понимании стратегии выигрыша лидерами мировой гонки усиливает между ними конкуренцию и укрепляет общий тренд, порождая в разных регионах мира оппозиции из симметричных элементов. Восточная Европа — одна из иллюстраций этого общего движения. Геополитическую борьбу в регионе не стоит рассматривать через призму борьбы между демократией и либерализмом, с одной стороны, и авторитаризмом и тиранией — с другой. Оценка конкуренции с позиций идеологемы демократии и либерализма исходит из иллюзии, согласно которой у конкурирующих сторон имеются разные основания. Согласно нашему истолкованию, у имперской экспансии, в форме которой глобальная конкуренция осуществляется, оснований нет. Скорее всего, гораздо уместней говорить о миметической захваченности конкурирующих сторон, о том, что они придают своим стратегическим целям и объектам одинаково высокую ценность. Можно сделать предположение, что в будущем, по мере усиления конкуренции в восточноевропейском регионе, мы еще столкнемся с эффектом исчезновения «моральных» различий между противостоящими сторонами, между «чистым» и «нечистым» насилием, между имперской и демократической интеграцией.

По большому счету, с эффектом постепенного стирания «моральных» различий мы столкнулись сразу после распада дихотомичного режима холодной войны, который ознаменовал глобальный кризис различий, когда не осталось места для отличия империй «добра» и империй «зла». Трудность с определением характера перемен связана с глобальной утратой идеологических идентичностей, со стиранием дифференциальных интервалов, усиливающих провал в безумство соперничества. Не различия между авторитарными и демократическими политическими режимами, а именно неуклонное стирание этих различий, обостряет межимперскую борьбу.<sup>3</sup>

Политика России в Восточной Европе довольно легко идентифицируется как имперская, поскольку она архаична. Набор инструментов довольно скуден: экономический шантаж, пропаганда советской ностальгии или славянского братства, за которым скрывается довольно пещерный национализм и эгоистические интересы. Гораздо труднее в полной мере оценить новизну и оригинальность нового западного имперского проекта — европеизации. Можно вспомнить различие, которое когда-то сделал Жорж Батай между империями пирамидальными, каковыми были все известные исторические империи, и империя-

<sup>3</sup> Не только война на Балканах, агрессия США против Ирака или недавняя война между Израилем и Ливаном, но и закамуфлированная попытка Европейского союза «демократизировать» Конго, а также множество других примеров имперского вмешательства, способствуют стиранию четких и простых отличий между оправданной и неоправданной интервенцией. Даже дискуссия о двойных стандартах становится неактуальной, поскольку невозможной оказывается сама рефлексия на эти основания.

ми будущего — империями-лабиринтами. Так вот Европейское сообщество более всего приближается к батаевскому образу империи-лабиринта как в смысле своей загадочности, так и в смысле отсутствия ярко выраженной властной вертикали — своего рода ацефал, как выразился бы Батай. Загадочность новой империи состоит в причудливости сочетания архаичных и совершенно новых практик экспансии. Однако есть и другое отличие, выгодно оттеняющее европейский имперский проект: федеративная и демократическая конституция Европейского сообщества является определенной гарантией того, что интересы местных элит, еще не интегрированных государственно-политических образований, будут учтены. Джон Айкенбери считает, что демократии гораздо эффективней в организации систем имперской гегемонии, поскольку они проявляют большую готовность к компромиссным соглашениям с местными элитами, что служит залогом кооперации и взаимности выгод.<sup>4</sup> В этом же контексте обычно говорят о емкости европейского рынка, однако этот рынок столь хорошо структурирован и сбалансирован с точки зрения уже присутствующих игроков, что новым элитам будет крайне сложно найти свою нишу.

Но новизна европеизации сказывается также в том, каким образом и какого рода ресурсы мобилизует ЕС в целях экспансии на восток — это не военные или административные, но скорее символические ресурсы. Достаточно сказать, что доля бюджета ЕС в совокупном ВВП составляет чуть более одного процента. Для создания национальных государств в XV–XVI вв. требовалась гораздо более значительная концентрация экономических и административных ресурсов в политических центрах. Если образование национального государства требовало распространения традиционного муниципального устройства на более обширную территорию,<sup>5</sup> то в ЕС мы не наблюдаем аналогичного процесса распространения национально-государственного управления на территорию общеевропейскую. Европейский центр в очень малой степени осуществляет функции перераспределения ресурсов. Кроме того, для осуществления активной внешней политики Брюсселю также пока недостаточно активности МИДов отдельных стран-членов. Тем не менее процесс добровольного ассоциирования с новым имперским образованием происходил до сих пор довольно быстро и эффективно.

Но процесс европеизации как имперской экспансии, с другой стороны, интересен также и своим архаичным образом действия. Имперская экспансия предполагает детально разработанную еще римлянами социальную политику по отношению к интегрируемым в империю приграничным территориям. Естественно, что речь пойдет о Риме,

<sup>4</sup> Ikenberry J. G. *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars*. Princeton University Press, 2001. Ch. 7–8.

<sup>5</sup> Полаanyi К. *Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени*. СПб., 2002. С. 79.

но подразумеваться будет вполне очевидная аналогия с процессом европеизации.

Завоевание и последующая интеграция в империю Галлии требовала от римлян дифференцированного подхода, который бы отличал внутри Галлии силы поддержки и сопротивления. Римлянам нужно было не просто завоевать Галлию, они хотели в процессе завоевания уничтожить, а затем и перестроить местную систему господства. Единственной силой, способной организовать эффективное сопротивление Риму, была галльская военная аристократия. Римляне действовали довольно изощренно, играя на социальных и политических противоречиях: стремясь унижить галльскую аристократию, они одновременно подчеркивали правомерность претензий на равенство прав подчиненных классов и слоев. Они убедили широкие массы в том, что даровать и гарантировать им права и свободы сможет только римское цивилизованное правление. Главным средством установления римского имперского господства стала, таким образом, политика эгалитаризации. Параллельно систематическому искоренению и физическому устранению галльской аристократии, империя пыталась создать новую, преданную им знать. Но эта знать должна была быть уже не военной, а сугубо административной или фискальной, работающей по правилам и нормам имперской бюрократической рациональности, собирающей налоги для имперского центра. Определяющими признаками новой знати было двуязычие и прекрасное знание юридических практик империи.<sup>6</sup>

Но проблема имперской власти и экспансии — это рациональный расход военных, материальных и организационных ресурсов. Рационализация внешней политики экспансии требовала классификации внешних угроз и дифференцированного отношения к внешнему миру. Рим, в частности, проводил очень четкое различие между варваром и дикарем, то есть между плохими и хорошими пограничными народами. С одной стороны, империя благосклонно относилась к присутствовавшему на границах пусть дикарскому, но маленькому, союзному и «полезному» населению, с другой стороны, она вела враждебную войну с населением варварским, которое понималось как чуждое и внешнее римской цивилизованности. Варвар — это тот, который назойливо атакует границы государства, от присутствия которого следует избавиться. Единственно возможное отношение к варвару со стороны империи — это война. С ним невозможна, например, честная торговля. Варвар — воплощение угрозы завоевания, захвата и грабежа.<sup>7</sup>

Естественно, что определяющим критерием для этой дифференцирующей политики империи являлись не «объективные» свойства приграничных народов, не их культурная или ментальная близость, как ска-

<sup>6</sup> Фуко М. Нужно защищать общество. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году. СПб, 2005. С. 160.

<sup>7</sup> Там же. С. 209–222.

зали бы сегодня, но в первую очередь их демографическая масса и степень консолидированности, которые были подлинным выражением потенциальности угрозы.

Таким образом, на границе империй образуется напряженность между несколькими полюсами: между империей и варварами, между империей и силами «реакции» в среде дикарских народов (интегрированных или стоящих на очереди к интеграции), между варварскими и дикарскими народами. Граница империи — это не четко очерченная разделительная линия — или формальная граница — но сложная система отношений или обширная зона мутаций, направленность которых далеко не всегда определена.

Для описания сложности имперской границы, или зоны революционных мутаций, нам потребуется выявить интегрирующей матрицы, присущей ЕС. В этой матрице можно выделить два определяющих процесса: 1) интеграция на периферии ЕС, то есть на внутренней границе сообщества; 2) интеграция на внешней границе.

### **Интеграция через дискредитацию государственности**

Как свидетельствует Иван Селеньи, процесс рыночной модернизации в странах бывшего советского блока, которые принято сегодня называть центральноевропейскими, прошел путем приватизации «извне» — капитализм был построен без капиталистов.<sup>8</sup> Поскольку интеллигенция в этих странах не позволила бывшему номенклатурному классу превратиться в номенклатурную буржуазию, как в России, постольку основные активы были приобретены зарубежным капиталом, а за местными национальными элитами — бывшей номенклатурой — остались функции управления этим капиталом. В странах Центральной Европы, таким образом, практически не осталось значительных национальных активов, поскольку местная промышленность и финансы контролируются капиталом стран европейского ядра.

На это обстоятельство важно обратить внимание, поскольку неформальным условием интеграции в ЕС новых стран является перераспределение национальных активов в пользу крупных групп капитала стран «ядра». Сегодня распространена точка зрения, что национальное происхождение капитала не играет решающей роли во внутренней политике отдельных стран. Эту же точку зрения отстаивает и Селеньи, кото-

<sup>8</sup> См. на сайте Института общественного проектирования лекцию Ивана Селеньи от 14 марта 2006 г. «Строительство капитализма без капиталистов — три пути перехода от социализма к капитализма» [<http://www.inop.ru/reading/page34/>] А также коллективную монографию Gil Eyal, Iván Szélenyi, and Eleanor Townsley. *Making Capitalism Without Capitalists: The New Ruling Elites in Eastern Europe*. London, 1998.



рый считает, что национальный капитал важен только в одном смысле — в процессе строительства национальных демократических институтов. Однако этот тезис можно было бы считать верным, если исходить из автономности национального капитала от национальных правительств. Однако именно опыт «европеизации» и интеграции в ЕС стран Центральной Европы отчетливо демонстрирует, что европейский капитал все еще дифференцируется по своему национальному происхождению, поскольку его рыночная стратегия координируется с интересами национально-государственных институтов.

На сегодняшний день есть две ключевые программы, которые должен был реализовать ЕС. Первая — создание общего рынка услуг, которая забуксовала полтора-два года назад. Вторая — либерализация энергетического рынка. Вопреки теоретическим предположениям либеральная модель энергетического рынка не дала толчка к развитию общеевропейских энергетических гигантов, но стимулировала конкуренцию национальных капиталов за энергетические активы. Консолидация энергетических рынков фактически происходит на национальных площадках, а не на общеевропейской сцене.

Обострившаяся глобальная конкуренция за энергетические ресурсы быстро вывела энергетику на уровень стратегической отрасли для всех государств — членов ЕС. Поэтому ранее одобренная концепция либерализации рынка натолкнулась на нежелание отдельных правительств отказаться от контроля энергетики. Напротив, можно сказать, что государственное прикрытие деятельности энергетических гигантов стало открытым и более эффективным. Гипотетически, серия слияний и приобретений в энергетическом секторе могла пойти по пути создания крупных общеевропейских кампаний. Однако необходимые для решения проблем энергодефицита капиталы были мобилизованы только в пределах национальных экономик. Брюссельская бюрократия религиозно верила в стихийную «рациональность» рынков: приватизация и уничтожение государственных монополистов должна была автоматически привести к единому и однородному рынку. Европейская Комиссия совсем не думала о необходимости создания единой энергетической платформы. Ее также мало интересовал тот факт, что электрические сети остаются по-прежнему национально замкнутыми.

Рынок стал действовать в соответствии с той «логикой», которая была возможна при существующей инфраструктуре и параметрах приватизации, а именно с логикой националистической. В результате на энергетическом рынке Европы создались все условия для образования олигополии, то есть монополии нескольких продавцов, капиталы которых имеют не общеевропейское, а национальное происхождение и государственное прикрытие. Теперь на энергетическом рынке ЕС будут господствовать немцы, французы, итальянцы, отчасти испанцы.

Многие европейцы уже сегодня понимают, что ставку нужно было делать не на голую рыночную конкуренцию, а на волевое политиче-

ское вмешательство в пагубную национальную организацию рынков, что необходим был именно брюссельский «дирижизм». В некотором смысле энергетический рынок является модельным, поскольку помогает понять то, как функционирует интеграционная матрица ЕС. Ведь на так называемых нестратегических рынках (телефония, недвижимость и пр.) уже произошла реструктуризация по такой же дефективной «националистической» схеме, ведущей эти рынки к образованию олигополий, к господству капиталов наиболее развитых стран, стран так называемого ядра. Поэтому те националистические трения, которые характерны для энергетики, непременно проявят себя и в целом ряде других отраслей хозяйства. По мере усиления конкуренции за энергетические ресурсы, ощущение, что создание единого рынка происходит лишь в интересах наиболее развитых стран, будет усиливаться. В восточноевропейских странах уже сегодня формируются националистические протестные движения, политические партийные платформы евроскептиков, отличающиеся радикализмом, характерным для экономической периферии.

Можно ли назвать путь интеграции восточноевропейских государств по модели «капитализма без (национальных) капиталистов» успешным? Пожалуй, вряд ли, если учесть их нынешнюю неспособность мобилизовать ресурсы для решения проблемы энергетической безопасности. Ввиду иностранного происхождения работающего в их странах капитала, они сегодня практически не в состоянии найти ресурсы для любой крупной общенациональной программы. Они столь же неспособны самостоятельно осуществить ни одной серьезной социальной реформы (в области образования, пенсионного обеспечения и пр.), а поэтому вынуждены уповать только на общеевропейские проекты. Суверенные возможности их оказались крайне ограниченными, а интеграция в ЕС, основанная на перераспределении национальных активов, усилила их уязвимость перед лицом возможных кризисов.

Демократии, таким образом, способны к довольно дешевой имперской экспансии и не нуждаются в мобилизации дорогостоящих военных, политических и административных ресурсов. Но именно ставка на «дешевые» практики интеграции может привести к весьма плачевным результатам. На начальных этапах легко добиться встречного движения от местных элит, но значительно труднее осуществлять реальное правление на интегрированных территориях, в условиях неудовлетворенности неравенством возможностей местного населения по сравнению с возможностями населения стран имперского ядра. Наконец, а может быть, в первую очередь, амбиции местных элит — величина непостоянная: требования пересмотра прежнего компромисса, доступа к капитальным ресурсам и рынкам будут все более настойчивыми. Ведь если элиты лишены экономических возможностей влияния, они не смогут успешно выполнять функции гарантов процветания и безопасности.

## Сиротская культура и орфанные государства

На внешней стороне границы ЕС в полной мере можно оценить работу архаичной имперской политики, различающей варваров и дикарей. На современном научном сленге, сильно идеологизированном, это различие часто обозначается как отличие между государствами с демократическими режимами и режимами (нео) патримониальными. «Социология сторонится любых концепций, согласно которым социальное существование собирает индивидов в единое целое на основе договора» — около столетия назад предупредил Жорж Батай.<sup>9</sup> Но именно на основе этих концепций базируются сегодняшние политические и социальные доктрины. Для них характерны своего рода манихейские альтернативы между плохим и хорошим: авторитарным и демократическим, патримониальным и рациональным. В качестве своего теоретического источника перечисленные оппозиции восходят к Макс Веберу, часто интерпретировавшему социальную жизнь как природную стихию, а усилия государственной бюрократии как рационализацию и совершенствование этой природы.

Довольно загадочным кажется тот факт, что отношение к революционным процессам в Восточной Европе со стороны левых и правых политиков и интеллектуалов на Западе в основном совпали, пусть даже на короткое время. Они с одинаковым энтузиазмом приветствовали «революционный» характер перемен, хотя для правых политиков растачать восторги перед революциями — довольно экзотично. В один голос они приветствовали продвижение так называемой демократизации. Сегодняшние левые отошли от якобинского антагонистического мировосприятия и приняли социал-демократический миф о нейтральности политического поля, а вместе с ним и миф о демократизации, безразличному к социальным различиям. В науке этот теоретический консенсус между правыми и левыми выразился, в частности, в интенсивной критике реакционных режимов на постсоветском пространстве с помощью концепта «патримониализм».

Веберовское различие между патримониальным и рационалистическим государством вполне понятно, если принять во внимание сколь большую роль в его творчестве играл импульс идей Просвещения. Именно в духе Просвещения он пытался предельно очистить национальную политику от произвола и случайности человеческих пристрастий, а для этого он говорил о тенденции к рационализации, которая у него фактически совпала с процессом бюрократизации. В отличие от Вебера, сегодняшние доктрины связывают процесс рационализации с демократизацией.

Мишель Крозье, исследуя феномен бюрократии,<sup>10</sup> показал наличие

<sup>9</sup> Коллеж социологии: 1927–1939. СПб., 2004. С. 34–35.

<sup>10</sup> Crozier M. Le Phénomène bureaucratique. Paris, 1963.

четкой связи между уровнем прозрачности и иерархией власти. По его мнению, внутри любой организованной коллективной общности руководящие позиции занимают те группы или кланы, которые способны сделать свое положение непрозрачным, а действия недоступными для понимания посторонних. При этом они должны добиться, чтобы поведение других, подчиненных секторов было константным, регулярным, предсказуемым. В развитых странах были организованы рациональные государственные аппараты. Однако именно в тех самых точках высшей пирамиды власти, которые имеют монополию на конвертацию капитала политического в экономический и символический, мы наблюдаем высокую концентрацию «нерационализируемого остатка». В этих стратегических локусах власти чрезвычайно велика роль неформальных сетевых связей и понимание роли солидарности и крепкой клановой «дружбы». У самого основания пирамиды демократических сообществ мы наблюдаем дисциплину в виде господства формального права, в то время как на вершине мы наблюдаем совсем другого рода дисциплину — здесь отношения регулируются в большей мере этосом. Именно там, где сконцентрировано богатство и политическая власть, там, где элита легко может конвертировать экономический капитал в политический или символический, именно там мы встречаемся с более прочными и развитыми патримониальными, патриархальными семейными и клановыми стратегиями. Наличие патримониальных и клановых стратегий, характерно в одинаковой мере для политических культур как западноевропейских, так и восточноевропейских стран, хотя они по-разному инкорпорированы в политические конструкции.

Однако популярность критики патримониальных отношений хорошо вписывается в общую неолиберальную стратегию дискредитации государственности вообще, а, в узком смысле, в стратегию дискредитации некоторых государств, в том числе государств Восточной Европы. Такая критика служит интересу подчинения местных элит дисциплине формального права, чтобы добиться от их действий управляемости, константности и предсказуемости.

Массовый революционный энтузиазм в Восточной Европе рубежа 80–90-х годов вдохновил некоторых интеллектуалов на работы, посвященные «концу истории». Критический и разрушительный пафос «цветных» революций, который носил сугубо «столичный» и «непосредственный» характер на Украине и в Грузии, был направлен против ближайших инстанций власти. Революционеры не искали и не выделяли врага №1, как это сделал, например, в своей фетве Бен Ладен (различивший *ближнего* и *дальнего* врага), но выступили против врага непосредственного. Враг был локализован в непосредственной близости. Бедность политического воображения проявилась также в миметическом поиске «решений» — в честности власти, выборов, в соблюдении демократических процедур. Наивность надежд революционеров проявилась в том, что они опирались на локализованные образцы за пределами собственных

национальных территорий. Они были связаны с пересмотром некоторых основополагающих принципов суверенитета и с воссоединением с другими, вненациональными воображаемыми сообществами — универсально гуманистического типа, то есть европейского. Европейский универсализм обеспечил ту легкость, с какой были восприняты доктрины имперского переключения и готовность некоторых постсоветских государств передать не только национальные активы, но и целый ряд функций суверенной государственности другой имперской инстанции.

Революционные движения в Центральной и Восточной Европе трудно назвать вполне националистическими или национально-освободительными. Их можно охарактеризовать как направленные против патримониалистских режимов только в ограниченном смысле — лишь постольку, поскольку они стали проявлениями «сиротского сознания». Когда национальные государства переживали пик своего расцвета, дискурс патримониализма (семьи, родства, крови, почвы), несмотря на свою фиктивность, был нормативным. Патримониальные и патриархальные метафоры были и остаются той образной материей, из которой сотканы национальные воображаемые сообщества.

Стратегия дискредитации государственного патронажа проявилась в известном комплексе требований: во-первых, в требовании создания «свободного и открытого рынка» через приватизацию и создание финансовых институтов по международным стандартам, во-вторых, «минимального государства», в-третьих, «добросовестного правления» («good governance») и формальной демократии, в-четвертых, в уменьшении финансирования социальных программ. Там где эта программа дискредитации государственности дальше всего продвинулась, мы обнаруживаем, с одной стороны, развитую политическую культуру «сиротского сознания» и клиентелистский национализм местных элит — с другой. Сиротская политическая культура создала соответствующие политические режимы, которые уместно было бы назвать, развивая метафору патримониализма, «орфанными».

Модное сегодня клише о нестабильности авторитарных режимов и стабильности режимов демократических вряд ли можно считать правдоподобным. Главный источник нестабильности в Восточной Европе — оспариваемое межимперское пространство, для которого характерно существование орфанных политических режимов. Современная глобальная конкуренция и новая парадигма экономического роста, требующие от суверенных стран интеграции в крупные хозяйственные сети и политические образования, производит не только новые имперские объединения, но превращает государства малой массы в орфанные<sup>11</sup>. Орфан-

<sup>11</sup> Для последних характерна не только готовность поделиться своими суверенными функциями с другими имперскими центрами, но и тенденция к понижению доли государственных расходов в ВВП: для многих из постсоветских государств нор-

ное государство — это реальность существования многих постсоветских государств — существование, которое предшествует их европейской, славянской, евразийской или восточной сущности.

Раскол элит на модернизационное (западническое) крыло и традиционалистское, характерный для Центральной и Восточной Европы в недавнем прошлом, уже не актуален. Модернизаторы еще недавно были настроены на воспроизводство в пределах своих национальных территорий зарубежных моделей успешного и устойчивого роста. Ныне же они решают совершенно другие задачи. На первый план выдвигается задача интеграции с развитыми капиталистическими центрами. Раньше этого импульса к интеграции практически не существовало. Нынешнее поколение модернизаторов в большей мере связывают будущее именно с рыночной интеграцией, интернационализацией финансов и с дальней торговлей. В таких условиях, характерный для прошлого раскол элит будет проходить не вдоль властной вертикали, но по горизонтали, то есть по разломам между социальными мирами, регионами, этносами. Революционная перестройка поэтому будет представлять иной тип угрозы, которая уже кое-где реализована — территориальное дробление, процесс «балканизации», подразумевающую возможность последующего переключения на имперские центры.

мой стала цифра в 30–40 %. В классических (скандинавских) странах она иногда достигала 70 %.

МИХАИЛ ОДЕССКИЙ

## Идеологема «революция» и возможность социальных потрясений в современной России

1. Применительно к современной Европе (Европе рубежа тысячелетий) принято говорить о двух «революционных» волнах. Первая — это крах тоталитарных режимов в бывшем социалистическом лагере (от «бархатной» революции в Чехии до кровавой революции в Румынии), который увенчался событиями 19-22 августа 1991г. в СССР. Вторая — недавние «цветные» антиправительственные выступления в постсоветских республиках (Грузия, Украина, Киргизия, в этот ряд также вписывают падение власти С. Милошевича в Сербии), из которых парадигматична — «оранжевая» революция. Символично, что 5 января 2005г. новые лидеры Виктор Ющенко и Михаил Саакашвили подписали Карпатскую декларацию, где украинская и грузинская революция названы «новой волной освобождения Европы, которая приведет к окончательной победе свободы и демократии на европейском континенте» («Оранжевая революция»: Украинская версия: Сб./Сост. М. Погребинский. М.: «Европа», 2005. С. 457). На таком политическом фоне эксперты задают вопрос (по аналогии): не найдет ли вторая «революционная» волна — подобно первой — эффективное завершение в России, что и будет «окончательной победой свободы и демократии на европейском континенте». Другими словами: насколько представима (в относительно близком будущем) «революция», направленная против современного курса российского правительства.

2. Прежде всего, однако, необходимо уточнить термин «революция», который — как это часто случается в политике — на самом деле не столько термин (понятие, наделенное ясными характеристиками), сколько



идеологема, т. е. понятие принципиально не точное, обязательно употребляемое в качестве оценочного. Обратившись к истории, нетрудно убедиться, что идеологема «революция» в современном ее понимании сформировалась в Век Просвещения (от «Славной» революции Вильгельма Оранского (William Orange) в Англии – к Великой французской революции). Революциями именовали насильственные (как правило) действия, в результате которых традиционный (сословный) социум сменялся социумом нового типа, реализующим комплекс идей Просвещения (разделение властей, равенство граждан перед законом, веротерпимость, уважение прав личности, защита бедных и т. п.) (Одесский М. П., Фельдман Д. М. Поэтика террора и новая административная ментальность: Очерки истории формирования. М., 1997. С. 23-32). Эти «правильные» революции противопоставлялись «неправильным», не приводившим к принципиальным изменениям в общественном строе. В отечественной традиции речь идет об оппозиции «революция» / «переворот», хотя «революция» в переводе с латыни также значит «переворот». Программа Просвещения до сих пор квалифицируется как базовая для «цивилизованного мира», потому событие, удостоенное имени «революция», обречено на поддержку интеллектуалов и международного общественного мнения.

3. Общества, в которых происходили «цветные» революции, никак нельзя отнести ни к сословным, ни к тоталитарным. Правящая элита отнюдь не отрицала программу Просвещения и даже объявляла ее реализованной: декларировалось разделение властей, функционировала система выборов и т. п. Равным образом, едва ли уместно говорить о диктатуре или (для бывших республик СССР) об оккупации и национальном гнете. Согласно суммирующей характеристике С. Маркова, «режим Кучмы был довольно свободным, он не использовал политических репрессий, не было политических заключенных, никакой ужасной политической полиции... Оппозиция имела не только свои газеты, но и два телеканала, правда, не очень мощных. <...> Были полностью открыты границы, Украина имела традицию нескольких туров в общем-то свободных и конкурентных выборов, а оппозиция – крупнейшую фракцию в парламенте» («Оранжевая революция». С. 76). Это очевидно. Однако столь же очевидно, что у населения возникло стойкое недоверие к системе выборов и – шире (по словам В. Никонова) – «ощущение несправедливости существующих порядков, основанное на коррупционных скандалах, растущем социальном неравенстве, неразвитости демократических институтов» («Оранжевая революция». С. 17). Можно сказать: дисфункция выборной системы – символ, а суть – недовольство (по тем или иным причинам) режимом, который недостаточно эффективно реализует программу Просвещения (при том что полностью она вообще не может быть реализована, по крайней мере – в ближайшее время и на постсоветском пространстве). Таким образом,

специфика «цветных» революций — их отличие от образцовых революций прошлого и от «бархатных» революций рубежа 1980-1990-х гг. — определяется (естественно, в упрощенном виде) посредством двух основных параметров: (1) формальный — дисфункция выборной системы; (2) идеологический — требование радикального изменения существующего строя (или радикального исправления его недостатков) в духе дальнейшей реализации программы Просвещения, хотя эта программа не отвергается и правительством.

4. Соответственно, возможность «цветной» революции в России обусловлена: (1) также имеющимся недоверием части населения к выборной системе; (2) недовольством государственными институтами (для либералов — авторитаризм правительственного курса, для левых сил — нарушение прав бедных, монетизация льгот и т. п.).

5. Ситуация дополнительно осложняется тем, что эксперты обсуждают не только «цветные» революции, но само слово-лозунг «революция».

*Случай первый.* «Цветным» революциям отказывают в праве на «революционное» имя, акцентируя фактические отклонения хода и лозунгов «цветных» революций от революционного образца (говоря фигурально — отклонения «оранжевой» революции от «оранжистской»). Украинский политолог А. Литвиненко: «...“оранжевые” протесты ноября — декабря 2004 года можно характеризовать как мощнейшее протестное движение, обеспечившее защиту избирательных прав граждан и победу одной из фракций украинского истеблишмента. Одновременно эти события не привели и не могли привести к коренной ломке социально-политического строя и поэтому вряд ли могут сегодня оцениваться как революция» («Оранжевая революция». С. 25).

Здесь, впрочем, продуктивно не столько оценивать степень «коренной ломки социально-политического строя», сколько обратить внимание на тезаурус оппозиции. А тезаурус — и в кризисные дни, и раньше — был классически революционным. Политолог А. Попов анализировал выступление экс-генпрокурора В. Шижкина, который 26 июля 2004 процитировал декларацию ООН по правам человека, где указывается, что народ имеет право на вооруженное восстание против тирании, и статьи Конституции и УК Украины, где не предусматривается уголовная ответственность лиц, которые поднимаются на восстание в состоянии крайней необходимости». Однако, — замечает Попов, — на самом деле ничего подобного нет ни в международных пактах, ни в законах Украины и зарубежных стран, а единственная конституция, где было записано право народа на восстание, — якобинская конституция 1793 года, в которой этот тезис Руссо обосновывал беспрецедентный для того времени террор. В августе в дебатах начальников штабов кандидатов А. Зинченко и С. Тигипко на пятом канале также утверждалось,

что конституцией гарантировано «право на восстание» («Оранжевая революция». С. 151). Ясно, что имеет в виду А. Попов: сторонники «оранжевой» революции — совершенно в духе террористов-якобинцев — смешивали закон с утопическим учением об «общественном договоре». В такой идеологической перспективе отнюдь не оговоркой, а продуманным лозунгом выглядит обращение к силовикам экс-министра обороны, экс-главы Службы Безопасности Украины Марчука (26 ноября), призывавшего «уважать конституционное право на протест» («Оранжевая революция». С. 429). Равным образом — заявление Виктора Ющенко в интервью «Sunday Telegraph» (5 декабря), что «мы просто возьмем власть штурмом» («Оранжевая революция». С. 441).

Кроме того, после второго тура выборов — в ответ на решение ЦИК о победе Януковича — было объявлено о создании Комитета национального спасения (председатель Ющенко), декреты которого, оглашенные на Майдане, по сути означали революционный захват власти (см. тексты декретов: «Оранжевая революция». С. 296-300). Однако Комитет национального спасения — не просто название экспромтом созданного государственного института, а революционная идеологема, причем с солидным якобинским прошлым. «Комитетом общественного спасения» именовался основной правительственный орган якобинской республики, созданный в экстремальных обстоятельствах и принявший на себя ответственность за широкомасштабный государственный террор, Комитет общественного спасения функционировал в системе Парижской Коммуны 1871 г. (пламенным его апологетом выступил Михаил Бакунин) и т. д. Парадокса ради добавлю, что Комитет национального спасения создали противники Б. Ельцина во время событий 1993 г. Вероятно, они не столько желали отметить 200-летие якобинского террора, сколько апеллировали к большевистскому революционному наследию, да и патриотические ассоциации словосочетания «национальное спасение» их тоже устраивали.

Итак, в терминологическом плане «оранжевая» революция отчетливо позиционировала себя в качестве «революции». И если опровергать эту претензию, то не указаниями на фактические несовпадения с историческим образцом, но идеологическими аргументами, актуализирующими оценочность идеологемы «революция».

Отсюда *случай второй*. Определение «революция» может считаться слишком позитивным, не соответствующим «низкой» реальности «цветной» политики. Украинский политолог В. Малинкович: «Без крови современные революции, пожалуй, могут и обойтись, но вот без фундаментальных — то есть системных — изменений всего политического и социального строя революций, думаю, не бывает. События, которые последовали за горбачевской “перестройкой” в республиках СССР и “бархатными революциями” в Чехословакии, ГДР, Венгрии, Польше и даже в Белграде, были бескровными, но, безусловно, революционными, т. к. до самых

корней перетрясли всю систему политической, социально-экономической и культурной жизни общества. Совсем не то в Украине (и, кстати, в Грузии Михаила Саакашвили). Организаторы “оранжевой революции”, включая самого Виктора Ющенко, вовсе не хотели системных перемен» («Оранжевая революция». С. 30). Тут комментарии излишни — все ясно.

Самый интересный — *третий случай*. Идеологема «революция» — в противоположность второму случаю — может восприниматься как негативная оценка, открывающая опасные тенденции «оранжевой» революции. В. Никонов задает риторические вопросы: «Итак, в Киеве произошла революция! Или не произошла? Может быть, там просто подвели итоги слишком бурной избирательной кампании или был организован государственный переворот?» И отвечает: «Если следовать названным выше критериям, то события в Украине в определение “революция” вписываются» («Оранжевая революция». С. 111-112). Более того, Никонов уточняет, что «оранжевая» революция по своему характеру — демократическая: «Можно ли считать революцию демократической? На Западе таковыми являются революции, в которых побеждают силы, рассматриваемые на Западе же как демократические. В России — если побеждают люди, называющие себя демократами. По Ленину, демократическая революция — это та, в которой решающую роль играют люди на улицах. По всем этим критериям революция была демократической» («Оранжевая революция». С. 121). Однако выводы следуют скорее печально скептические, чуть ли не сочувственные по отношению к Украине: «Настоящая ли это революция, мы узнаем скоро: по тому, начнет ли она, как всякая уважающая себя революция, пожирать собственных детей. Например, не станет ли Юлия Тимошенко чем-то напоминать товарища Троцкого. Тот тоже был главным творцом и мотором революции, получил от Ленина поручение возглавить правительство, но потом оказался слишком сильным для остальных» («Оранжевая революция». С. 121). Кадровый прогноз оправдался, значит, «оранжевая» революция — подлинная революция, но насколько она в этой связи заслуживает позитивной оценки?

Подобное отношение закономерно для российского политолога. Идеологема «революция» эмоционально воспринимается на Западе не так, как в современной России. Будучи жестко связана с коммунистическим прошлым (культ Октябрьской революции и т. д.), она не объединяет, а разделяет людей — она симпатична прежде всего апологетам прошлого и (по той же причине) отталкивает многих представителей политического бомонда России.

Августовские события 1991 г. многие наблюдатели по горячим следам объявили «революцией». В этом не сомневался сторонник Ельцина журналист А. Черкизов, не сомневались и противники («Правда» писала об «августовской буржуазной революции»). Но инициатор перестройки М. Горбачев называл августовские события — исключитель-

но путчем (см., напр.: Горбачев М. Декабрь-91: Моя позиция. М., 1992. С. 150), что автоматически подразумевало: победа над ГКЧП — не революция, но восстановление конституционного порядка, которому угрожали мятежники. Вполне закономерно, что победитель — Б. Ельцин — также именовал события 19-21 августа «переворотом» (Горбачев — Ельцин: 1500 дней политического противостояния / Сост. Л. Н. Доброхотов. М., 1992. С. 392), никак не претендуя на имя «революционера». Наконец, в качестве «путча» фигурирует август 1991 г. в новейших школьных учебниках по истории.

Потому не стоит удивляться, что «революционная» квалификация прихода к власти Ющенко может означать отрицательное отношение, а гипотетическая «цветная» революция в России может изображаться эсхатологической катастрофой. Глеб Павловский: «... киевская революция — никакая не украинская и не восточноевропейская. Это хорошо нам памятная русская революция, еще одна в столетней цепи таких же, начиная с первой русской революции 1905 года» («Оранжевая революция». С. 3). Декларируя свою веру в то, что никаких «цветных» революций в России не произойдет, Павловский апеллирует именно к национальному историческому опыту, который аккумулировал страх перед любой революцией: «У России богатый опыт не только “успешных”, но и успешно предотвращенных революций» («Оранжевая революция». С. 7).

Таким образом, можно ожидать, что эмоциональные оценки слова-лозунга «революция» — во всем их спектре — будут весьма причудливо востребованы в политических (пропагандистских) проектах ближайшего времени.

ОЛЬГА ЭДЕЛЬМАН

## Профессия — революционер

Местом для разговоров на темы о желательности предъявления требований и прекращения работы служит обычный клуб рабочих — общий фабричный ватерклозет. Во что выльются в конце концов разговоры, указать в данный момент затруднительно.

*Из агентурной записки полиции о положении на фабрике Богородской резиновой мануфактуры «Богатырь», 1912<sup>1</sup>*

Революционный миф продолжает довлеть. Много десятилетий русская культура идеализировала понятие «революционер»: борец за идею свободы и народного счастья, готовый положить за нее жизнь. Для противников — «бесы», фанатики, не разбирающие средств, не жалеющие ни себя, ни других. Но основной смысл тот же: одержимость идеей, причем, по-видимому, благой. Эти представления по сути своей остаются в силе и ныне.

Но если попробовать посмотреть на революционеров — профессиональных революционеров, — подчеркну, более реалистично? Если принять во внимание то многообразие мотивов, факторов, обстоятельств, характеров, которое действует в живой жизни?

Все, что я скажу дальше, является не более чем первой и неизбежно поверхностной попыткой, так сказать, подвергнуть ревизии привычный образ революционера. То обстоятельство, что большая часть примеров относится к закавказским революционным организациям, — более-менее случайно и объясняется тем, что по роду работы в Государственном архиве РФ мне пришлось знакомиться именно с этой частью обширного архивного фонда Департамента Полиции. Имеет ли смысл распространять кавказские примеры на остальную Российскую империю? Выборочное знакомство с архивными делами, касающимися

<sup>1</sup> Государственный архив Российской Федерации (Далее: ГА РФ). ДО. 1912. Д. 5. Ч. 46. Л. Б. Пр. 1. Л. 36.

ся других губерний, убеждает, что в Закавказье некоторые моменты были выражены ярче, чем во внутренних губерниях (скажем, привычка носить оружие, на Кавказе повсеместная, в иных частях страны была не настолько всеобщей), из-за того отчетливей проявлялись тенденции, существовавшие в других подпольных организациях не столь явно. Такое впечатление, что нравы менялись от губернии к губернии. На Урале народ был очень суровый, не случайно денежные экспроприации совершались прежде всего там и на Кавказе; польские социал-демократы, на очень поверхностный взгляд, были больше озабочены вопросами теории, программ, платформ, — впрочем, это все требует изучения. Однако рабочий, заподозренный в связях с охранкой, с равным успехом мог быть убит подпольщиками и в Тифлисе, и в Орехово-Зуево, и в Лодзи. Революционеры центральных губерний с удовольствием заимствовали опыт закавказских товарищей и неизменно восхищались их отвагой. Петербургская боевая организация большевиков строилась по образцу закавказских; Авель Енукидзе, специализировавшийся на постановке подпольных типографий, был вызван из Баку в Москву именно для этого. Ну и есть еще один, немаловажный для отечественной истории, момент: именно в закавказском подполье складывался как деятель «чудесный грузин» Иосиф Джугашвили.

Подполье, сообщество революционеров — это социум, среда, как любая среда, оказывающая на людей давление, формирующая специфическую систему ценностей, приоритетов, типов поведения. Но среда профессиональная или же досуговая, где люди собираются ради каких-то увлечений, общего стиля жизни (будь то артистический салон, клуб филателистов или сообщество рокеров-мотоциклистов) оказывает на человека лишь ограниченное воздействие, оставляет ему простор быть иным в других сферах (дома, с друзьями, принадлежащими другой среде, на отдыхе и пр.) В этом отношении можно априорно предполагать, что для революционера, особенно нелегала, среда имела более тотальное значение: вне нее он практически не находился. Это был и круг общения, и профессия, и мировоззрение, и часто там же, внутри этого круга, образовывалась если не семья, то любовная связь.

Каковы многообразные последствия такого положения? О некоторых из них неоднократно говорено: радикально настроенная публика подогревала друг друга, погружалась в фанатизм и доктринерство, жила в своей системе ценностей, причем даже и впоследствии не замечала, насколько она дика. Анна Аллилуева, старшая дочь в семье революционеров, в мемуарах с гордостью повествовала о том, как во время революционных боев 1905 г. (Аллилуевы тогда жили в Тифлисе и Баку) на ней, малолетней девочке, перевозили патроны — из соображений, что ребенка обыскивать не станут. Член боевой организации большевиков Федосья Ильинична Драбкина по кличке «Наташа» несколько раз ездила за границу за капсулями с гремучей ртутью, нужными для изготовления бомб. Возили их на себе, в спрятанных под одеждой жилетах с кармашка-



ми под каждый капсюль, старались, разумеется, за одну поездку взять как можно больше. Была опасность взорваться при случайном толчке или ударе. Ездили обычными пассажирскими поездами, причем всю дорогу от Парижа (часть такого рода закупок делалась там) до Петербурга надо было сидеть, не касаясь спинки сиденья, во избежание этих самых толчков. Гремучая ртуть сильно и удушливо пахла горьким миндалем, у курьеров болели головы, они старались часть пути проделывать в тамбуре, на холоде, дамы маскировали запах сильными духами. (Что думали другие пассажиры в вагоне, и о чем вообще они думали при виде странно себя ведущего, пахнущего химией попутчика? Приходило ли им в голову, какому риску они подвергаются? Во всяком случае, историй о том, что их выдали соседи по купе, революционные мемуаристы не приводят.) Так вот, «для конспирации» Драбкина брала с собой дочку лет 3–4.

Погружаясь в свою систему оценок, революционеры теряли ощущение того, как это выглядит со стороны. В значительной мере потому, что этого трезвого взгляда «со стороны» не существовало. Были или враги, или сочувствующая публика, те мириады студентов и курсисток, преуспевающих инженеров, адвокатов, врачей, которые их подкармливали, почитывали нелегальщину, давали денег на революцию, принимали на хранение листовки, а то и оружие, соглашались приютить на ночь героя-борца. Да что говорить, если сочувствующие находились и в гвардейских казармах, и среди великосветской публики, и среди крупных промышленников. Большевистские боевики утверждали, что явочные квартиры и склады, в том числе оружия и бомб (а их самодельные бомбы сами по себе представляли угрозу), устраивались и в великосветских, и в генеральских домах, и даже в одном из великокняжеских дворцов. Гвардейские солдаты таскали на продажу революционерам боеприпасы, офицеры читали им курсы по взрывному делу. И это у большевиков, а специализировавшиеся на терроре эсеры пользовались еще большей популярностью, и денег у них соответственно было больше. Даже зная о широкой моральной и материальной поддержке революционеров русским обществом, временами все же удивляешься, находя все новые свидетельства того, насколько широко и явно это делалось. К примеру, 1 февраля 1905 г. из Тифлисского охранного отделения доносили в Петербург, в Департамент Полиции: «После демонстрации 23 января в г. Тифлисе группой гласных был поднят вопрос об ассигновании из городских средств двух тысяч рублей для оказания материальной поддержки пострадавшим во время беспорядков. Вопрос этот должен был обсуждаться в заседании Думы, но так как заседания три раза откладывались, то гласные упомянутой группы собрали между собой 107 руб. и через Меланию Чодришвили, известную Департаменту Полиции по донесению от 16 декабря... передали в кассу Тифлисского Комитета. Деньги собирал князь Александр Михайлович Аргутинский-Долгоруков»<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> ГА РФ. Ф. 102. ДО. 1904. Д. 5. Ч. II. Л. «Б». Л. 94.

Донесение не производит впечатления, что речь о каком-то небывалом, из ряда выходящем событии — всего-то члены городской думы внесли деньги в кассу Комитета РСДРП.

Вот фрагмент из перлюстрированного письма из Парижа, от политэмигранта, к ссылке в Иркутскую губернию, сентябрь 1911 г.: «Сообщу, как мы пережили сообщение о покушении на Столыпина. [...] Публика страшно разволновалась: эс-эры закрыли свою читалку, в с. д.-ской же был прибит огромный плакат с извещением о радостном событии. Слух о выздоровлении Столыпина заставил здешний орган синдикалистов "Bataille Syndikaliste" озаглавить свою статью: "Несчастье. Столыпин, кажется, опять не издохнет..." Смерть же Столыпина произвела очень хорошее впечатление на всех, хотя с. р. сегодня (спустя 8 дней после покушения) официально заявляют, что Богров действовал без санкции какой-либо партийной с. р. организации»<sup>3</sup>. Публика была лишена чувства нравственной меры.

Все это неоднократно обсуждалось как в героическом ключе, так и в обличительном. Не упуская из виду идейный фон, власть идеи, фанатичность, — посмотрим на совсем другие стороны дела.

Итак, революционер-нелегал. Он был полностью занят партийной работой. И жил, соответственно, на содержании партии, получал ежемесячное жалованье. Например, осенью 1909 г. видному лидеру грузинских меньшевиков Ною Жордании от партии была назначена субсидия в 50 рублей ежемесячно<sup>4</sup>. За полгода до этого, в марте 1909 г., тифлисская агентура доносила жандармам, что в городе «в I-м районе пропаганду ведет Арчил Долидзе, занимается только этим, получая за это 25 рублей от организации. Иван Хандамов — тоже пропагандист I-го района. Живет у отца на Авлабаре. Тоже получает 25 рублей от организации»<sup>5</sup>. Месяц спустя, в середине апреля, агент сообщил, что «пропагандисты предъявили Областному комитету требование об увеличении им содержания с 25 рублей на 40 в месяц»<sup>6</sup>. Надо заметить, что 25 рублей по тем временам — вполне приличные деньги, сопоставимые с заработком квалифицированного рабочего. Равно как и с окладами, какие получали от охранных отделений и губернских жандармских управлений постоянные секретные сотрудники.

Тогда же, в марте 1909 года, в Тифлисе произошел случай, совершенно невероятный, если исходить из принятых романтических представлений о революционном подполье: рабочие подпольной типографии РСДРП решили объявить забастовку. Из сводки агентурных сведений по городу неясно, что послужило причиной, однако логично предположить, что раз примерно в это же время пропагандисты потребовали уве-

<sup>3</sup> ГА РФ. Ф. 102. ДО. 1910. Д. 5 пр. 2. Л. 23.

<sup>4</sup> ГА РФ. Ф. 102. ДО. 1909. Д. 5 ч. 61. Л. «А». Л. Л. 199 об.— 200 об.

<sup>5</sup> ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1909. Д. 5. Ч. 6. Л. А. Л. 42 об.

<sup>6</sup> Там же. Л. 50 об.

личения зарплаты, то и рабочие типографии решили поступить так же. Как доносил полиции агент 14 марта: «По поводу забастовки наборщиков партийной газеты “Чвени-Сахме” (“Наше дело”). Областным комитетом было предложено наборщикам выйти на партийный суд. Рабочие это предложение встретили сочувственно. Был избран состав суда из членов Областного комитета. Суд вынес резолюцию: 1) Ввиду того, что забастовка в каком бы то ни было учреждении недопустима, потому что благодаря взаимным правилам, владелец должен довести об этом до сведения администрации, чего редакция партийной газеты сделать не может, и что всем этим рабочие редакцию ставят в неловкое положение, и кроме того товарищи наборщики ни в коем случае не должны были лишать рабочие массы своего единственного печатного органа. Суд постановил: предложить наборщикам вступить в исполнение своих обязанностей. Рабочие, выслушав это решение, плюнули на судей, обрутали их площадною бранью и ушли. Коллектив, приняв все изложенное выше во внимание, выразил свое негодование рабочим и постановил выгнать их из партии, а Областному комитету предложено во что бы то ни стало газету выпустать»<sup>7</sup>.

Революционная работа двигалась не чистым энтузиазмом, она имела свою экономику. Можно встретить в документах сведения о том, как городской партийный комитет передал районным организациям для распространения партию нелегальной литературы на такую-то сумму, причем указанную с точностью до копеек. То есть, видимо, нелегальные брошюры и газетки не просто раздавались рабочим, но *продавались*. И в этом был резон: они же имели себестоимость, нелегальным типографиям, как и любым другим, приходилось покупать бумагу, краску. Стоили денег и печатные станы, и шрифты. Шрифты, правда, зачастую просто выкрадывали рабочие легальных типографий. Существовали две схемы производства нелегальной литературы внутри России: или ее печатали в легальных типографиях, или ставили свою, как говорили на тогдашнем и революционном, и жандармском жаргоне, «технику». В первом случае либо листовки тайком изготавливали распропагандированные наборщики, либо же — и есть у меня подозрение, что это был более частый случай, — листовки просто заказывались типографии, хозяин которой понимал, что работает в буквальном смысле «налево». Такой заказ, разумеется, оплачивался, и надо полагать, обходился дороже, чем печать невинных подцензурных изданий. Таким образом возможно было разместить разовые заказы: листовки к 1 мая или по текущим поводам. Но для регулярного выпуска литературы, особенно если замышлялась газета, требовалось, конечно, иметь свою «технику». Она покупалась, под нее находилось надежное с точки зрения конспирации помещение. И там должны были постоянно работать наборщики. Это было их основное рабочее место, и разумеется, что они должны были получать заработную плату.

<sup>7</sup> Там же. Л. 36 об.— 38 об.

Откуда у партийных комитетов брались деньги? Понятно же, пожертвования сочувствующих спонсоров могли быть существенными, но вряд ли являлись постоянным источником. К экспроприациям (грабежу банков, перевозчиков денег, денежных касс) прибегали на самом деле не столь часто. Стабильным более-менее источником поступления денег были членские взносы тех, кого и в жандармских бумагах именовали «передовыми рабочими». В октябре 1901 г. на Вокзальной улице в Тифлисе происходила тайная сходка, куда пришли и новые, еще не затронутые пропагандой, рабочие Главных мастерских закавказских железных дорог; на этой сходке «интеллигент»<sup>8</sup>, оказавшийся впоследствии Иосифом Джугашвили, доказывал необходимость «поднять» дух рабочих путем агитации и распространения нелегальных изданий; кроме того, по мнению названного оратора, нужно заботиться о слиянии всех народностей и вносить деньги в кассу на борьбу с капиталом и самодержавием<sup>9</sup>.

Агентурные донесения пестрят упоминаниями о сборе с рабочих членских взносов, причем существовали общепринятая такса — по 2 копейки с заработанного рубля, т. е. 2 % от заработка рабочего<sup>10</sup>, и налаженный порядок взимания. Так, 29 ноября 1904 г. полиция обыскала квартиры наиболее деятельных тифлисских рабочих, и у некого Михаила Рухадзе были найдены «три разграфленных чернилами продолговатых листка с обозначениями сверху «1 офицер», «2 офицер», «5 офицер», в каждом 5 особых отделений с обозначением сверху «1 унт. офиц.», «2 ун. оф.»... и в каждом отделении по порядку №№ 1–6; листки эти приготовлены для записей собранных денег на тайную соц.-демокр. кассу с рабочих цеха»<sup>11</sup>. Тут надо пояснить, что офицерами и унтер-офицерами в организации назывались руководители групп рабочих в заводских цехах, каждый унтер-офицер собирал взносы с 5 рабочих и сам был шестым; пять унтер-офицеров, в свою очередь, сдавали собранные суммы офицеру. В вагонном цехе тифлисского паровозоремонтного завода насчитывалось пять офицеров, которые собранные деньги передавали представителю цеха Рухадзе. Рабочим говорили, что образованная таким образом касса заменяет запрещенную профсоюзную, из нее будут выплачиваться пособия забастовщикам, пострадавшим, нуждающимся рабочим, поте-

<sup>8</sup> Слово «интеллигент» взято в документе в кавычки, т. к. означало не социальное положение, а место в партийной организации. «Интеллигентами» именовали пропагандистов, приходивших вести занятия рабочих кружков; по паспорту же И. Джугашвили значился крестьянином с Диди-Лило Тифлисской губернии и уезда.

<sup>9</sup> Из заключения товарища прокурора Тифлисской судебной палаты Н. Серповского по делу рабочего М. Г. Шенгелия, 18 апреля 1903 г. (ГА РФ. Ф. 124. Оп. II. 1902 г. Д. 127. Л. 11–12).

<sup>10</sup> В прокурорском заключении по делу о первых арестованных в Тифлисе социал-демократов В. Курнатовском и др. указывалось, что «на рабочую кассу при каждой получке жалованья собираются деньги в размере 2 коп. с каждого заработанного рубля» (ГА РФ. Ф. 124. Оп. 10. Д. 124. 1901 г. Л. 87 об.), эти сведения подтверждаются и многими другими источниками.

<sup>11</sup> ГА РФ. Ф. 102. ДО. 1904. Д. 5. Ч. II. Л. «Б». Л. 21–22.

рванным место из-за борьбы за свои права. На самом деле, конечно, средства этих рабочих касс шли также и на нужды организаций РСДРП.

Налаженная система сбора денег означала также, что при преобладающем количестве распропагандированных, «передовых» рабочих участие в движении остальных их сослуживцев переставало быть делом сугубо добровольным. В самом деле: если большинство рабочих цеха входит в организацию, собирает взносы, то остальные, законопослушные рабочие начинают испытывать на себе их давление, и не только моральное. Известно и не скрывалось даже в официозных историях рабочего движения, как во время забастовок пикеты стачечников избивали готовых выйти на работу «штрейкбрехеров», мастеров и прочих «пособников администрации». Порой они заходили и дальше.

12 января 1905 г. из Тифлисского охранного отделения доносили в Петербург: «На одной из массовых сходок в октябре месяце 1904 года железнодорожными рабочими Ясоном Батиевым, Копанадзе и Исидором Буадзе при поддержке остальных присутствовавших было заявлено пропагандированному на сходке интеллигенту о том, что среди рабочих Главных мастерских Закавказских жел. дорог есть такие, которые, не принимая участия в организации, стесняют их в преступной деятельности; а потому, опасаясь с их стороны провокаторства, они обращаются к Комитету с просьбой каким бы то ни было способом удалить из их среды не сочувствующих движению, ибо в противном случае они будут вынуждены сами выйти из организации. Просьба эта была доложена Комитету, а впоследствии туда был представлен и список не сочувствующих рабочих, в каковой в числе других были помещены: бригадир кузнечного цеха Петр Белоконев, бригадир токарного цеха Давид Вашакидзе, бригадиры вагонного цеха Самсон Гамкрелидзе и Качава, старший рабочий токарного цеха Шошкин, его помощник Кудренко и один из братьев Ильиных, работающих в токарном цехе. Способом извлечения оппозиционного преступным деятелям элемента Комитет избрал террор и из числа упомянутых в списке лиц уже пострадало трое: был тяжело ранен Белоконев, 21 декабря 1904 года убит Давид Вашакидзе и сего числа выстрелом из револьвера в кладовой мастерской вагонного цеха убит Гамкрелидзе. Убийцами, по сведениям агентуры, являются наемные люди, но не из числа железнодорожных рабочих, хотя и не без участия последних, выражающегося в указывании убийцам личностей, приговоренных к смерти.

Многие, благодаря террору, из чувства самосохранения вынуждены были вступить в организацию, более же стойкие, каковых осталось сравнительно немного, приходят на работы позже всех рабочих и уходят раньше других и из опасения быть убитыми решили совершенно оставить службу в мастерских Закавказских железных дорог»<sup>12</sup>.

Своеобразный революционный рэкет проявлялся и в других формах. В декабре 1903 г. в охранное отделение обратилась мать революционера.

<sup>12</sup> ГА РФ. Ф. 102. ДО. 1904. Д. 5. Ч. II. Л. «Б». Л. 86–86 об.

«Софья Миракова, проживающая в гор. Тифлисе, в собственном доме, заявила, что ее сын Казар Иванович (он же Лазарь Оганесович) Мираков, содержащий по Арсенальному шоссе в имении Надировой дер. будку, принадлежит к революционной партии и в последние годы выманил у ней несколько тысяч рублей на нужды революционного дела; занимаясь пропагандой революционных идей, сын приносил к ней домой подпольные издания на хранение, но она их всегда сжигала; в последнее время вымогание денег и навязывание нелегальных изданий стали ей невмоготу и она, заявив обо всем, представила несколько экземпляров листов и брошюру на грузинском языке преступного содержания; Софья Миракова предполагает, что сын сохраняет еще где-нибудь нелегальные издания»<sup>13</sup>.

Позднее, в марте 1912 г., в сводке агентурных данных появилась следующая история. «В деревне Цкадиси, Рачинского уезда, Кутаисской губернии, проживает окончивший курс заграничного университета медик Шамшия Лежава, который в 1905 и 1906 годах жил в городе Кутаисе и входил в состав Кутаисской с.-д. организации (большевик), имел у себя партийные печати и другие партийные документы. В то время Кутаисской организацией ему было поручено руководить в Рачинском уезде местной организацией и сбором денег в пользу партии, причем деньги он собирал по подписным листам с.-д. комитета от более зажиточных крестьян, угрожая при отказе, поджечь их жилища; так Лежава взял с жителя селения Ликорцминда Рачинского уезда Самсона Мхеидзе по 50 рублей несколько раз. В настоящее время Лежава проживает при своих родителях и занимается частной медицинской практикой... Деятельность Лежавы хорошо известна теперешнему помощнику Озургетского уездного начальника Аслану Квиташвили, бывшему тогда помощником Рачинского уездного начальника. Организованная Лежавой шайка террористов социал-демократов в 1906 году захватила названного Квиташвили в м. Они, сняла погоны и фуражку и в таком положении заставила пешком пройти до селения Амбралаури в расстоянии 21 версты. По прибытии карательного отряда Квиташвили, из боязни мести, никому не заявлял о случившемся с ним, и, кроме того, являлся к генералу Алиханову с депутацией просить не посылать карательного отряда в селение Цкадиси, где жил Лежава, и в соседние с ним. Поименованные лица все это могут подтвердить только в том случае, если предварительно будет арестован Лежава»<sup>14</sup>.

Партийцы регулярно отчитывались перед рабочими о расходовании сумм и состоянии касс, даже издавались гектографированные отчеты. Однако в условиях подполья рабочим реально контролировать кассы было почти невозможно. Уже в 1902 г., когда социал-демократическое движение только развертывалось, один из активнейших тогдаш-

<sup>13</sup> ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1898. Д. 5. Ч. 52. Л. «В». Л. 261.

<sup>14</sup> ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1912. Д. 5. Ч. 79. Л. Б. Л. 58 об.— 59 об.



них тифлисских партийцев Сильвестр Джигладзе «в порыве раздражения» заявил, что «по вопросу об организованной ими кассе происходят постоянные недоразумения: грузины не доверяют русским, которые хотят забрать кассу в свое ведение, а русские — грузинам»<sup>15</sup>. Причины для недоверия были, пусть и не связанные с национальностью активистов. В ноябре 1901 г. на заседании Тифлисского комитета, как доносила агентура, «Захар Чодрашвили прочитал отчет тайной кассы, причем оказалось, что денег должно было быть 931 рубль, а фактически имелось 831 р. (800 р. по книжке сберегательной кассы и 31 рубль на руках), что сто рублей делись неизвестно куда и таковые было решено вывести фиктивно; там же было решено учредить контроль ежемесячной кассы, что было поручено Кораджеву и Цобадзе»<sup>16</sup>. 27 мая 1902 г. начальник Тифлисского губернского жандармского управления генерал Дебиль доносил в Департамент Полиции об изъятии при обыске у В. Бибинейшвили сберегательной книжки партийной кассы на 735 руб., составлявшей примерно половину партийных средств, и сообщал, что «по агентурным сведениям, захват половины кассы скрывают от рабочих (хотя многие уже и знают) для чего решено вывести отобранную часть кассы в расход под ложным наименованием в течение нескольких месяцев, как это уже делалось однажды при пропаже 100 р. Представляемый при сем гектографированный отчет кассы за март сего года подтверждает это указание агентуры: в помощь арестованным выведена невероятно большая сумма — 301 руб. и остаток показан почти такой же, как и от предыдущего месяца»<sup>17</sup>. Позднее сходная ситуация повторилась. При донесении от 26 сентября 1903 г. начальник Тифлисского охранного отделения ротмистр Засыпкин представил в Департамент Полиции отчет кассы Тифлисского Комитета за июль 1903 г. «с приходом в 1440 и расходом 1168 руб., имею честь донести... что по агентурным указаниям, означенный отчет преувеличен по меньшей мере в 2 раза, что находит подтверждение в имеющихся до некоторой степени общих указаниях на количество денег, могущих быть потраченными комитетом на помощь арестованным и высланным и на литературу»<sup>18</sup>.

В первые годы XX в. партийные деньги действительно шли главным образом на литературу, на вспомоществование арестованным. Социал-демократы еще только начинали свою деятельность, не успели пройти через аресты, ссылки, побег, и, соответственно, не жили еще на нелегальном положении. Первая революция существенно изменила положение дел. Теперь организации РСДРП (которая, между про-

<sup>15</sup> Из заключения товарища прокурора судебной палаты Хлодовского по делу Курнатовского и др., 30 ноября 1902 г. (ГА РФ. Ф. 124. Оп. 10. Д. 124. 1901 г. Л. 89).

<sup>16</sup> Из донесения начальника Тифлисского Губернского жандармского управления генерал-майора Дебиля в Департамент Полиции, 5 июля 1902 г. (ГА РФ. Ф. 102. Д. 7. 1902 г. Д. 175. Л. 92 об.— 93а об.)

<sup>17</sup> Там же. Л. 78 об.

<sup>18</sup> ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1898. Д. 5. Ч. 52. Л. «В». Л. 181.



чим, позиционировала себя как сугубо мирную партию) обзавелись боевыми группами. И в первую очередь закавказские. При организации Петербургской боевой группы большевики использовали именно их опыт. А боевые группы — это прежде всего забота о закупках оружия. Уже когда революция была на излете, весной 1907 г., бакинская полиция перехватила отчет о кассе боевой дружины Бакинского комитета РСДРП. Тут следует заметить, что боевые организации были в значительной мере автономны, не полностью подотчетны партийному комитету, и свои дела устраивали сами — того требовала конспирация. Вот расходная часть этого отчета, за период 20 февраля — 1 апреля 1907 г.

«Расход:  
Уплачено за оружие и пат[роны] 1125 р. 40 к.  
— » — взрывчат[ые] вещес [тва] 859  
Конспират[ивные] расходы 38  
Инструменты и починки 65 р. 40 к.  
Типографские расходы 14  
Почтовые 1 р. 30 к.  
Разъезды 21 р. 90 к.  
Уплачено профессионалам 179  
Заимообразно дружинник [ам] 50  
За квартиры и склады 33  
Заимооб [разно] Централь [ной] Кассе 300  
Уплачено долгу 13 р. 22 к.  
Числится задаток 100  
Всего 2800 р. 22 к.»<sup>19</sup>

Тут следует заметить, что единственным профессионалом в Бакинском Комитете на тот момент был Коба — хорошо известный полиции Иосиф Джугашвили; впрочем, в боевой дружине могли быть и еще нелегалы. Вокруг боевой дружины вообще и ее кассы в частности через полгода развернулись жесткие споры бакинских большевиков с меньшевиками (ведь формально они являлись одной партией). Осенью 1907 г., ссылаясь на решения Лондонского съезда РСДРП, постановившего прекратить всякую боевую деятельность, меньшевики потребовали роспуска боевой дружины. Большевики, в первую очередь Коба, возражали, что боевая дружина еще может пригодиться в будущем. Попутно всплыл вопрос о ее финансах: «При обсуждении этого вопроса между прочим выяснилось, что Бакинская организация израсходовала на приобретение оружия около 80 тысяч рублей и в настоящее время владеет 76 револьверами систем «Маузер» и «Браунинг», 170 винтовками разных систем и некоторым количеством бомб, что совершенно не соответствует такой затрате. Определилось также, что до сего времени еще не имеется никакой отчетности о порядке израсходования упомянутой

<sup>19</sup> ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1907. Д. 5. Ч. 3. Л. 42.

выше суммы и такой отчет постановлено затребовать от «штаба боевой дружины»<sup>20</sup>.

Роспуск боевых дружин порождал в свою очередь проблемы. Выйти из революционного движения было не так просто. Тщательно законспирированные боевые дружины, пока действовали, строго охраняли свои тайны. Благодаря усилиям полиции, до нас дошел устав той самой бакинской боевой дружины (он был напечатан нелегально брошюрой, тиражом 500 экз. — неясно, соотносился ли как-то тираж с численностью дружины). Это обширный документ, где детально прописаны все аспекты ее деятельности<sup>21</sup>. Раздел V посвящен обязанностям дружинника (п. 20: «Дружинник безусловно (и без всякого возражения) подчиняется во всем своему ближайшему руководителю»), раздел VIII — «О дисциплинарной части». Это место, п. 33 устава, стоит привести полностью: «Дисциплинарно наказываются: 1) Те, которые окажутся неисправными. 2) Те, которые не выполняют поручения своего руководителя. 3) Те, которые любят откровенничать и вообще не могут держать в тайне дел, касающихся боевой дружины. 4) Те, которые нарушат устав боевой дружины или программу партии (экспроприациями и т. п.) 5) Те, которые будут сорить деньгами, пьянствовать и т. п. 6) Те, которые растратят имущество организации. 7) Наказываются также все шпионы, изменники и т. п. Примечание: Дружинник, вышедший из состава боевой дружины, не освобождается от ответственности, если он будет обвинен в нарушении 3-го пункта сего устава». Возникает, конечно, вопрос: какие такие могли быть дисциплинарные наказания в тайной, нелегально существовавшей дружине? Ответ находится в следующем, 34 пункте устава, который гласит просто: «К казни приговаривает районный совет». Таким образом, следовательно, войдя в дружину, боевик становился заложником. С единственным утешением: «Приговор районного совета может быть передан на рассмотрение военного совета и затем руководящего коллектива Бакинской организации». То есть убьют не сразу, остается некоторая надежда на обжалование.

Так вот, помимо этой круговой поруки, остававшейся в силе даже после роспуска дружины, бывшие боевики сталкивались и с другой проблемой: как легализоваться? Хорошо, если кто мог как ни в чем не бывало вернуться к прежней жизни. В апреле 1909 г. агентура доносила полиции, что в Тифлис «из Елисаветполя прибыл состоящий наемным террористом в Елисаветпольской социал-демократической организации Владимир Манчикаладзе... с явкой к Сильвестру Джигладзе. В Елисаветпольской организации работа пала... Манчикаладзе жаловался Джигладзе, что его Елисаветпольская организация уволила и перестала платить жалованье (30 руб.), и он очутился в безвыходном положении, тем более что его разыскивает полиция за убийство жандармского ротми-

<sup>20</sup> ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1907. Д. 5. Ч. 3. Л. Л. 100–101. Полиция знала эти подробности благодаря донесениям агентуры.

<sup>21</sup> ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1907. Д. 5. Ч. 3. Л. 71–73.

стра (ротмистр Ритчер) в 1906 году, убийство Воробьева — служащего в Елисаветпольском депо, покушение на убийство бывшего машиниста Меркулова и бывшего казака — члена патриотического общества»<sup>22</sup>. Манчикаладзе так и не нашел себя в новой жизни, уже летом того же года, пробыв в Тифлисе месяца три, он отметился очередным преступлением: стрелял в городского, причем «его партия исключила из своего состава за грабежи и шантаж»<sup>23</sup>.

После поражения революции 1905–1907 гг. вся партийная работа пришла в упадок. Отчасти из-за волны арестов, отчасти оттого, что рабочие (да, видимо, и интеллигентная публика) в значительной мере в этой деятельности разочаровались. В 1909–1912 гг. донесения агентов часто возвращаются к той же теме: партийная работа почти не ведется, рабочие не хотят слушать агитаторов, не платят взносов. Куда было податься революционерам-нелегалам? Они не были связаны столь жесткой круговой порукой, как боевики, но все же несли определенные обязательства по молчанию о партийной деятельности. Впрочем, не это главное. У многих из них не было профессии, источника заработка, документов, в конце концов, приемлемого объяснения, где и как они провели предшествовавшие годы. Любая смена профессии сложна; тут она была сложна вдвойне. Тот же Сосо Джугашвили, недоучившийся семинарист, сменивший не один фальшивый паспорт, с 1901 г. нигде не работавший, был, в сущности, типичной фигурой.

Более грамотные, обладатели университетских дипломов и знания иностранных языков, уезжали за границу, вели жизнь радикальных литераторов-публицистов. Кто-то, видимо, потихоньку возвращался к мирной обывательской жизни (имена этих людей мы, по понятным причинам, знаем хуже всего, они выпали из «большой истории»). Иные переходили тонкую черту, отделявшую подпольщиков от обыкновенного криминального мира. Вот видный тифлисский большевик Константин Хомерики по прозвищу «Костя Рыжий», сделавший в свое время немало общих дел с Сосо Джугашвили. «По агентурным сведениям Хомерики состоял членом Тифлисского соц.-дем. комитета большевиков, занимался партийной террористической деятельностью, завладевал партийной техникой и террористами; у него хранилась тайная типография. В последнее время он бросил партийную работу и занялся шантажом и грабежами; он хранил у себя печати для подделки паспортов»<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> ГА РФ. Ф. 102. ОО. 1909. Д. 5. Ч. 6. Л. А. Л. 48 об.— 49 об. В том же апреле 1909 г. из Бакинского губернского жандармского управления докладывали в Петербург, что «в течении минувшего года революционерами приведено в исполнение 23 смертных приговора, при чем убит 1 пристав, 2 помощника, из них один Елисаветпольской полиции, 3 околоточных надзирателя и 17 городских» (ГА РФ. Ф. 102. ДО. 1909. Д. 80. Ч. 3. Л. 22).

<sup>23</sup> Там же. Л. 89 об.

<sup>24</sup> ГА РФ. Ф. 102. ДО. 1911. Д. 5. Ч. 79. Л. «Б». Л. 125 об.—126.

Но все же, кажется, большинство профессиональных революционеров пережидало спад, надеясь на возвращение активной подпольной работы. Многие коротали это время в ссылках. Революционная среда создавала систему взаимной поддержки: имея явки, полученные от своей организации или от знакомых, нелегал, беглый, просто приезжий партиец мог рассчитывать на то, что его примут, пустят переночевать, быть может, ссудят деньгами, снабдят документами, помогут обустроиться; если он приехал для партийной работы — дадут явки и контакты в городе; в приграничных пунктах помогут перейти границу и т.д. Сочувствующие движению играли немалую роль в поддержании этой невидимой сети, помогавшей революционерам, дававшей возможность выкрутиться в трудных ситуациях. Она же служила и при побегах. Впрочем, не следует преувеличивать степень дружественной солидарности тех, кто был причастен к подполью. Партийцы пребывали в бесконечных межфракционных расколах и размежеваниях (тут особенно отличались социал-демократы<sup>25</sup>). Свои дразги были у томившихся в глухих местечках ссыльных. Но главное, члены действующих организаций находились в перманентном поиске агентов полиции, осведомителей и провокаторов, в непрекращающихся взаимных подозрениях и обвинениях. Почва для них была создана жандармами: агентов действительно было очень много. Не только такие выдающиеся фигуры, как Азеф или Малиновский, — нелегальные группы были буквально наспигованы завербованными осведомителями. Когда после февральской революции победители вознамерились обнародовать архивы охранки, создали специальную комиссию по разбору картотек тайных сотрудников (возглавлял комиссию известный историк революционного движения П. Е. Щеголев, в прошлом народник), то очень быстро от этой идеи пришлось отказаться: зашкаливающее число агентов дискредитировало не столько охранку, сколько само революционное движение. В 1910 г., после серии провалов, РСДРП была охвачена внутренней шпиономанией, все друг друга подозревали. В этот-то контекст следует поместить и известные обвинения в адрес Сталина, что он якобы был агентом охранки. Частью эти обвинения восходят к О. Шатуновской, бакинской большевичке из окружения С. Шаумяна. Джугашвили агентом не был, но кого только в том же кругу не подозревали — включая и самого Шаумяна. Отчасти подозрения режиссировались полицией, маскировавшей своих реальных агентов.

Разговоры о провокаторах, неаккуратность в обращении с партийными деньгами — все это должно было подрывать престиж революционеров в глазах рабочих. Но только ли это, в купе с поражением первой

<sup>25</sup> Споры большевиков с меньшевиками велись с самого основания партии. Забавно, что во внутрипартийной переписке сложился специфический жаргон, сначала для краткости и конспирации названия фракций сокращали, писали «б-ки» и «м-ки», очень быстро стали уже называть: «беки» и «меки».

революции, было причиной разочарования «рабочих масс»? Как доносил бакинский агент полиции в октябре 1909 г., говоря о финансовых затруднениях местных социал-демократов, «деньги поступают еще труднее и потому, что рабочие совершенно разочарованы в работе своих руководителей и говорят, что за свои же деньги они выигрывают только то, что сядут в тюрьму»<sup>26</sup>.

В самом деле, возьмем два примера, две довольно известные истории.

Батумская стачка 1902 г., начавшаяся в марте и продлившаяся до середины июня, первая большая акция, организованная Иосифом Джугашвили. Батум был небольшим, но динамично развивавшимся нефтепромышленным городом. Нефтяные предприятия, принадлежавшие в основном иностранным хозяевам, работали в зависимости от наличия заказов: есть заказ — нанимали рабочих, по окончании работ лишних увольняли. Нанимались крестьяне из окрестных районов, для которых заводской заработок служил существенным подспорьем. В конце февраля 1902 г. на заводе Ротшильда было объявлено о грядущем увольнении около 400 рабочих, при том что работало на заводе всего порядка 900 человек. Этим воспользовался товарищ Сосо (такова была тогда его конспиративная кличка) и через уже распропагандированных им рабочих повел агитацию, призывая в знак протеста против увольнений провести забастовку, требовать, чтобы администрация платила рабочим и тогда, когда заказов и работы нет. Надо отметить, что в ту пору предложение рабочих рук существенно превосходило возможности найма, была безработица. Тем не менее революционная агитация возымела успех, в последних числах февраля завод Ротшильда забастовал. Затем, после первых арестов зачинщиков, Сосо призвал к решительным выступлениям, 8–9 марта толпы рабочих из нефтяного городка вышли на улицы, дело шло к массовым беспорядкам, и власти, не добившись успокоения толпы, испугавшись, что бунтующие подожгут нефтепромыслы, вызвали войска. Закончилось стрельбой, 12 рабочих были убиты, 19 ранены. Забастовка на заводе Ротшильда продолжалась. 5 апреля Джугашвили был арестован, причем по наводке нескольких рабочих, которым надоело бастовать и хотелось снова получить возможность заработка<sup>27</sup>. Завод бастовал еще почти три месяца, пока не была достигнута договоренность с администрацией о возобновлении работ, рабочие получили пособие, соответствовавшее примерно месячному заработку, и очень за него благодарили. Социал-демократы объявили о полной победе бастовавших. Однако анализ того, чего они на самом деле добились, убеждает: это, равно как и полученное пособие, ни в коем случае не компенсировало неполученной за время забастовки заработ-

<sup>26</sup> ГА РФ. Ф. 102. ДО. 1909. Д. 5. Ч. 3. Л. А. Л. 69 об.

<sup>27</sup> Это видно из донесения начальника Кутаисского Губернского Жандармского Управления полковника Стопчанского в Департамент Полиции от 22 апреля 1902 г. (ГА РФ. Ф. 102. Д7. 1902 г. Д. 175. Л. 51–53).

ной платы. Впрочем, сами большевики не раз высказывали презрение к чисто экономическим требованиям: бороться, по их мнению, следовало не за повышение зарплаты и улучшение условий труда («подачки»), а за свержение самодержавия.

Восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический» в июне 1905 г. вспыхнуло восстание стихийно, без особой причины (пресловутая история о гнилом мясе сильно раздута). Подоплека его состояла в том, что примерно на 750 человек матросов было 50–60 охваченных революционной пропагандой, а поскольку революционеры взяли курс на подготовку всеобщего восстания, то и моряков настраивали соответственно. Это была группа, готовая взбунтоваться и искавшая любого повода. Броненосец в то время находился на учебных стрельбах в море, примерно в 100 верстах от Одессы. Большинство матросов было испугано и пассивно подчинилось вожакам бунта; командир корабля и офицеры, за несколькими исключениями, были убиты. Броненосец двинулся к Одессе: по слухам, там шло восстание народа. На самом деле общего восстания не было, были уличные беспорядки. Когда «Потемкин» подошел к одесскому рейду, на него приплыли в шлюпке агитаторы — одесские меньшевики Березовский и Фельдман. Они остались на корабле, приложив максимум усилий к тому, чтобы моряки (плохо, в сущности, представлявшие цель и смысл своего выступления, не знавшие, что делать дальше, колебавшиеся, не сдаться ли командованию) продолжали восстание, уговаривали обстрелять город (на что матросы по счастью не согласились). По воспоминаниям Константина Фельдмана, они агитировали и митинговали часами, до хрипоты и потери голоса. Простояв четыре дня на Одесском рейде, так и не придумав, к чему этот мятеж и что делать; после неудачной попытки умирения силами подошедшей эскадры; после того как к бунту сначала примкнул, потом изменил свое решение еще один броненосец «Георгий Победоносец», — «Потемкин» покинул одесский рейд и двинулся по направлению к Румынии. Они уже сильно нуждались в продовольствии, воде и угле и надеялись получить все это в Румынии. Фельдман и Березовский сочинили и передали румынским властям два воззвания от имени команды. Фельдман составил безудержно демагогическое «Обращение ко всему цивилизованному миру» с призывом к свержению самодержавия, Березовский — более практичное «Обращение к иностранным державам», где заверял, что мятежный броненосец не опасен для третьих стран. Не получив, однако, ни угля, ни припасов, «Потемкин» принялся бесцельно скитаться по Черному морю. Команда пала духом. Пошли в Феодосию, под угрозой бомбардировки получили у городских властей немного продовольствия. Несколько матросов высадились там на берег и были арестованы, среди них переодетый матросом Фельдман. Не важно, как он объяснял свое бегство с броненосца, какими революционными резонами — важно, что до конца с моряками, которых столько подзуживал, он не остался.



Наконец, питаюсь одними сухарями, на остатках топлива потемкинцы снова ушли в Румынию и там сдались. Дальнейшая судьба их была трагичной. Сорок семь человек решило вернуться в Россию сразу же; их судили, шестерым дали от трех до пятнадцати лет каторги, остальных отдали в арестантские роты. Судили и 75 зачинщиков восстания на «Георгий Победоносце», троих казнили<sup>28</sup>. Главный вожак восстания на «Потемкине» матрос Афанасий Матюшенко побыл два года в эмиграции, в 1907 г. вернулся в Одессу и Николаев. Он сошелся с анархистами, получил от них фальшивые документы, явки и какие-то смутные террористические планы. В Николаеве его схватили, приговорили к смертной казни и повесили. Оставшиеся за границей семь сотен потемкинцев бедствовали. Румынские власти отнюдь не были счастливы, получив такой неблагонадежный элемент. У моряков не было ни денег, ни знания языка, ни возможности найти работу. Они постепенно перемещались в другие страны, но нигде их особо не ждали. Революционная эмиграция приняла нескольких наиболее близких к себе по духу (как Матюшенко), но переварить всю эту массу была не в состоянии. Да и хотела ли? Некоторые бывшие моряки перебрались в Америку и Канаду, один не без успеха фермерствовал, другой погиб от голода и гнуса, заблудившись в аргентинской сельве... Многие возвращались в Россию, кто нелегально, а кто и явно. Еще накануне Первой мировой войны в русские консульства и на приграничные пункты являлись бывшие потемкинцы и заявляли, что предпочитают каторжные работы на родине скитаниям на чужбине.

Константин Фельдман довольно быстро, не дожидаясь суда, бежал из феодосийской тюрьмы (подкупил стражника, который при этом лишился места и сам ударился в бег). Через некоторое время Фельдман оказался в эмиграции в Париже, выступал с рефератами о восстании на «Потемкине», очень любил рассуждать о причинах его поражения: считал, что из-за недостатка революционной решимости моряков. Собственно, на потемкинской истории Фельдман сделал себе реноме, которое охраняло его, меньшевика, и потом, в большевистском СССР. В 1927 г. он опубликовал мемуары о восстании и даже снялся в фильме Эйзенштейна в роли самого себя.

В сущности, профессиональных революционеров весьма мало волновали реальные судьбы, живые жизни тех самых простых людей, рабочих, солдат и матросов (не говоря уж о крестьянах) за интересы которых они якобы боролись. Подпольная среда формировала свои, корпоративные интересы. Профессионалы-нелегалы нашли свою нишу не в явном, нормальном социальном строе общества, но в параллельном, подпольном мире — и были заинтересованы в поддержании его,

<sup>28</sup> Бунтовщикам с «Геория Победоносца» достались более суровые приговоры, чем потемкинцам, потому что судили их раньше, в августе 1905 г., а потемкинцев — в начале 1906 г., после Манифеста 17 октября.



в организации актов «борьбы за права народа, за свержение самодержавия», ибо именно эти акты повышали их собственную цену в глазах сочувствующей публики. При этом они беззастенчиво манипулировали теми самыми народными массами в своих корыстно-корпоративных интересах. Вообще-то, революция, к которой они так стремились, была им не нужна, им было нужно продолжение «борьбы». Революция оказалась побочным продуктом.

ГЕОРГИЙ ДЕРЛУГЬЯН

## Кризисы неовотчинного правления

Развал правящего режима Киргизии застал врасплох даже телекомпанию CNN. В прошлую пятницу редакторы новостных каналов лихо-радочно обзванивали экспертов, способных прокомментировать невнятные картинки народной стихии в Бишкеке. Отыскали, несмотря на пасхальные каникулы, дежурного Андерса Ослунда, успевшего в девятые годы побывать либерально — экономическим советником также и при некогда демократическом Акаеве. В отведенные ему три минуты телевизионного времени, Ослунд произнес знакомую литанию о прискорбной непоследовательности либеральных реформ, чиновничьей коррупции, авторитаризме правителей и прочих «старых дурных привычках» номенклатурного начальства. Такова, вкратце, подновленная формула «вашингтонского консенсуса»: к предписанию шоковой либерализации экономики теперь добавились морализаторские требования прозрачности бизнеса и госуправления. Как-будто в образцово растущем Китае этой прозрачности вместе с демократией навалом!

Отечественные политологи, конечно, куда лучше чувствуют постсоветские реалии. Наша беда не в догматизме абстрактной веры, а в избытке его противоположности — цинизма в отношении социальной реальности всех уровней. Причастные к околополитической среде эксперты и «технологи» купаются в спекулятивном анализе элитных интриг, клановых раскладов и иностранных интересов. Эти, более активные, политологи ищут себе применения на рынке прикладных услуг, где конкуренция строится вокруг сиюминутных догадок (не исключено, порою проницательных) и выдвижения столь же быстро забываемых рекомендаций.

Тем временем наша академическая политология, отринув марксистско-ленинскую схоластику развитого социализма, либо все еще переваривает западную переводную схоластику развитого капитализма, либо

по собственному разумению конструирует вычурные геополитико-цивилизационные схемы. Между полюсом абстрактного теоретизирования и полюсом прикладных рекомендаций у нас традиционно существует пустота. Однако именно там, на стыке конкретно-политического анализа и структурно-исторической теории, возникают более плодотворные и интересные объяснения происходящего в бывших советских республиках.

**Полураспад СССР:  
революционная ситуация  
без революционной перестройки власти**

Вооружившись этим грубоватым компасом для навигации в разногололье оценок, попробуем по-иному разобраться в значении киргизских событий. Во-первых, революции в Киргизии (как и в Грузии или Украине) пока не произошло — налицо была лишь революционная ситуация, состоящая из раскола в элитах, который открыл дорогу стихийному восстанию городских масс и свержению прежнего руководства. Это типичная первая стадия, начало и пик протестов. Остается неясно, сумеет ли теперь какая-то политическая фракция консолидировать власть для действительно революционного реформирования государства и общества.

Революции, согласно ныне уже классической схеме Чарльза Тилли (на русский, увы, не переведившегося), начинаются внутриэлитным конфликтом верхов, затем взрываются снизу, но завершаются опять же сверху. Обычно в конце революционных потрясений приходят какие-нибудь Джордж Вашингтон, Наполеон, Бисмарк, Сталин, Франко, Де Голль, Кастро или Хомейни, способные направить развал в те или иные устойчивые институты власти. Соседство столь разных имен неслучайно — способность власти к решению исторических задач в прежние времена достигалась несколькими совершенно разными путями, от демократии до национальной независимости и диктатуры левого или правого толка.

Хуже всего бывает, когда старый режим разваливается, а новому не хватает ни политической энергии, ни материальных ресурсов.

Собственно, эта беда и постигла большинство бывших республик советского блока. Удачливей других оказались страны Центральной Европы, которые по стечению истории и географии быстро переключились с зависимости от исчерпавшей свою щедрость Москвы на зависимость от Евросоюза. Смена вектора зависимости стала их стратегией выхода из революции. Теперь в очередь на периферийное членство в европейском кооперативе безопасности и благосостояния надеются встать Грузия, Украина, даже воронинская Молдова. За ними из почти безнадежного далека, вероятно, попытается встроиться и Киргизия.

## Прихватизация государства

Другую стратегию выхода из революции израильский теоретик Шмуэль Айзенштадт назвал по-ученому неопатримониализмом. На латыни *patrimonium* означает феодальную вотчину, поэтому лучше было бы сказать *неовотчинность*.

Перед лицом развала привычных советских структур управления, новоизбранные президенты (номенклатурные начальники вроде Кравчука и Каримова либо оппозиционные интеллигенты вроде Гамсахурдии, Тер-Петросяна, Ардзинбы, Эльчибея, даже того же генерала Дудаева) использовали неожиданно на них свалившуюся независимость для выстраивания вертикалей личной власти. То, что настолько разные люди с совершенно разным жизненным и профессиональным опытом разом делали одно и то же, четко указывает на жесткую заданность политического курса общими историческими условиями. Вспомним, в какой отчаянной ситуации им приходилось действовать после 1991 г. (обвал плановой экономики, всплеск насилия этнического либо криминального), не имея под собой реальных партий, какая была некогда у Ленина, и описывая будущее лишь самыми общими идеологическими лозунгами национального суверенитета.

Контроль над государством, как показывает тот же Чарльз Тилли, достигается тремя способами.

В нормальных условиях — когда государство существует на прочной основе и всем кажется, что никуда оно не денется, как и никуда вам от этой власти не деться — создается кадровый состав чиновников и офицеров. Они эффективно работают при двух базовых условиях: долгосрочное надежное вознаграждение по выслуге лет (плюс, с обратной стороны, реальный риск лишиться карьеры и самой свободы в случае нарушения правил) и, как ни романтично может прозвучать второе условие, это Идея служения как некой общей пользы. Чиновник, который может не только прожить на свою зарплату, но еще и гордиться своим трудом — самый эффективный чиновник. Вспомните знаменитое «За Державу обидно!» из уст вымышленного, но вполне правдоподобного русского таможенника в фильме «Белое солнце пустыни»; к слову, в британской традиции чиновники госаппарата так и именуются — *public servants*, т. е. слуги общества.

Можно обрести контроль над госаппаратом, расставив на ключевые посты фанатически преданных людей. Институт комиссаров впервые придумали не Керенский и Ленин и даже не французские якобинцы, а английский революционный диктатор Оливер Кромвель, который придал каждому батальону своей новой армии протестантского проповедника — для воодушевления и для присмотра за душами. Кстати, на Кавказе по совершенно тем же принципам строилось войско имама Шамиля.

Но как быть, если нет ни достаточно прочного аппарата, ни достаточно сильной идеи? Остается расставлять своих назначенцев на доход-

ные должности в обмен на ожидание политической поддержки и доли с собираемых ими на местах доходов. Ожидания сплошь и рядом оборачивались обманами и конфликтами, поскольку доходных sinecur на всех не хватало, а те, кому они достались, находили пути дальнейшего обособления в полуфеодалные уделы. Отсюда своеволие губернаторов и экономических олигархов — типичные коллизии постперестроечной эпохи.

### **Издержки коррупционного метода властвования**

Бороться с издержками неовотчинного правления можно было по-разному. В Третьем мире типичным способом стала опора на армию. Однако армия и тайная полиция сами по себе очень опасные орудия — для самого правителя. Ведь военные сами могут захватить власть. Волны таких переворотов вскоре после независимости прокатились по многим арабским и африканским странам. Очевидно поэтому в странах СНГ не предпринималось серьезного военного строительства — а в Армении, где война заставила это сделать, плохо адаптированный к интриге президент Тер-Петросян в конечном счете заплатился фактическим (пущай и «бархатным») переворотом.

Можно, конечно, полагаться на гражданскую бюрократию. Но, повторяю, чтобы сделать ее эффективной, требуется политическая воля и ресурсы для защиты и продвижения добросовестных чиновников. Значит, требуется серьезное ограничение коррупции, а это не просто сложно. Это — смертельно опасно для любого правителя. Ведь придется отбирать sinecurы не только у врагов, но и друзей и у собственных назначенцев. Именно в этот момент возникает множество причин свергнуть или убить такого лидера, и мотивация подкреплена ресурсами влиятельных людей. Стоит ли удивляться, что многие правители перед лицом такой дилеммы предпочитают просто плыть по структурному течению своей истории, наслаждаясь плодами власти?

Более того, создание правового государства в современных условиях непременно порождает демократические ожидания, следовательно, власть уже не гарантирована от превратностей на выборах. А тут еще эти иностранные наблюдатели, от мнения которых может пострадать кредитный рейтинг страны, обремененной внешним долгом и зависимостью от западной помощи.

Остается полагаться на ближний круг «семьи» или собственного «клана» из земляков, приятелей, сослуживцев. В терминах мадридского двора это называлось камарилья — толпа интриганов в палате (т. е. *сáмага камере*) перед опочивальней монарха.

Однако здесь поджидают свои издержки! Склоки случаются и в семьях, особенно по поводу старшинства и наследства умершего дядюшки — советской власти. Но потенциально куда опасней недовольство тех, кто некогда был в приближенном кругу, а затем оказался за порогом. Само

по себе массовое обнищание и даже недовольство народа (вопреки догматике народников и марксистов) политически не так уж и опасны. Угнетение и нищета могут регулярно уходить в не-революционные формы: социальную апатию, эмиграцию, рост сердечно-сосудистой заболеваемости под воздействием социального стресса, алкоголизм, мелкую преступность, распад семей, падение рождаемости и прочие социальные патологии. Все это превращается в социальный динамит только когда возникает детонатор — неподконтрольные властям религиозные проповедники, интеллигенция, организовавшаяся в революционное движение, или выпавшие из неовотчинной обоймы начальники и особенно молодые харизматические личности, которым не удастся встроиться во власть.

Социолог Джефф Гудвин, просчитавший факторы революций, произошедших в мире с 1945 по 1990 гг., показал, что чем больше концентрация личной и семейной власти, тем, соответственно, выше отчуждение среди элит и населения и, в среднесрочном плане, выше вероятность насильственного переворота. Другой известный социолог, Джек Голдстоун, показал, насколько велика была роль демографического давления во всех европейских революциях Нового времени. До тех пор, пока западные общества не начали стареть, практически никто не замечал, что революции совершают преимущественно молодые мужчины, особенно те, кому не только не удастся реализовать свои возросшие амбиции, но даже не хватает земельных участков, ремесленных мастерских, торговых лавок или должностей, чтобы воспроизвести трудную, но прежде спокойную жизнь своих предков.

Наконец, очевидно, что все режимы личной власти подвержены старению — как организационному накоплению противоречий, так и чисто физическому износу правителей. Легендарный мексиканский диктатор дон Порфирио Диас после почти сорока лет у власти впал в старческий маразм; иранский шах в решающий момент оказался болен неизлечимым раком; филиппинский самодержец Фердинанд Маркос совершенно утратил чувство реальности и фактически отдал власть своей эксцентричной жене Имельде; нигерийский генерал Сани Абача умер от разрыва сердца, как говорят, в компании двух индийских проституток-акробаток и после принятия лошадиной дозы виагры. Поскольку же такие «султанистские» (по типологии Альфреда Степана) режимы полнотью и целенаправленно завязаны лично на Верховного, то рушатся они катастрофически быстро.

### **Скорое будущее СНГ**

Оставим киргизстанским авторам ответить на эмпирический вопрос, каким именно образом потерял самообладание и власть бывший академик и, по должности, перестроечный демократ Аскар Акаев. Объективно, в Киргизии сложились все условия для восстания — власть Акаева запуталась в семейных делах и начала являть склонность к патетической

мегаломании, гражданские управленцы и силовики утратили стимулы к подчинению, оказавшиеся за порогом власти бывшие соратники и соперники Акаева вывели на улицы свои собственные группы поддержки, и тогда плотину прорвали потоки сельских или недавно сельских парней, та самая демографическая масса, у которой не просматривается никаких приемлемых перспектив в постсоветской жизни. Добавим, что государство, бюджет которого в последние годы почти целиком зависел от иностранной помощи, не могло проявлять особой самостоятельности и пойти, с одной стороны, на отмену выборов, а с другой стороны, наверняка не получило внешней санкции на применение силы.

Наконец, есть ли закономерность или даже злой зарубежный умысел в раскручивающейся серии однотипных восстаний в Грузии, Украине, Киргизии (добавим сюда неудавшиеся попытки в Азербайджане, Армении и полууспех в Абхазии)? Несомненно, есть внешняя составляющая, но она скорее в передаче опыта мобилизации и попросту в демонстрационном эффекте — одни окрыляются осознанием, что могут победить, другие как могут укрепляют свою власть и, вероятно, уже готовят пути к отходу. Важнее скорее то, что внешние силы — не только Запад, но и Москва — сдерживают применение силы, обоснованно опасаясь непредсказуемых последствий. Все-таки сейчас не 1991 год, и с тех пор были усвоены важные уроки.

Впечатление синхронизации падения режимов возникает оттого, что все они возникали примерно одновременно и в аналогичных неовотчинных формах. Настает предел износа этой модели правления.

Поскольку в завуалированной или открытой форме регулярно возникает вопрос о путинской России, особо отмечу, что здесь отсутствуют две важнейшие предпосылки восстания. Во-первых, в России и, самое главное, в городе Москве и близко нет такой демографической массы неудовлетворенной молодежи. Во-вторых, едва ли не важнее, что Путину удалось восстановить централизацию бюрократического аппарата (с его эффективностью дела обстоят хуже). Все остальные политические и психологические факторы имеют второстепенное значение, хотя и они пока работают на стабильность российской власти. Если что-то ей и грозит, то не свержение, а скорее неспособность наполнить смыслом рецентрализацию государства и диверсифицировать экономику. Это чревато очередным застоєм и в какой-то момент будущего новым кризисом финансов и идеологической легитимности власти с очередным воспроизведением раскола элит на державно-традиционалистскую и западно-либеральную фракции, вероятно также с политически значимым размежеванием по регионам и хозяйственным секторам. Впрочем, динамику отдаленного кризиса предсказывать всегда очень трудно.

Главный сегодня вопрос в том, что придет на смену неовотчинной модели. Альтернатива по сути одна и очень нелегкая. Это соглашение среди победителей о создании системы формальных правовых гарантий прежде всего против друг друга — как заслона неовотчинному прин-



ципу организации власти. Это предполагает нелегкое осознание возможности проигрыша на следующих выборах, но также гарантий собственности и вообще существования в оппозиции. Более того, такая система элитного соглашения не будет работать без ответственной и относительно независимой от политиков бюрократии. Демократии без действующей бюрократии не бывает.

Увы, намного легче представить себе, что на смену неовотчинности единого хозяина может прийти остро конкурентная форма неовотчинности нескольких соперничающих кланов или коалиций элит. Тогда процессы износа власти пойдут на следующий виток, неизбежно чреватый полукриминальным насилием, грабежом ресурсов, и, вероятно, новыми восстаниями. Как это и происходит во многих странах Третьего мира, вплоть до распада государства на враждующие банды, области и уделы. Тогда мародерство в Бишкеке окажется не разовым всплеском, а началом новой волны постсоветского распада.

Неовотчинные режимы укреплять нельзя, их надо аккуратно демонтировать. Вопрос как, кто и с чьей помощью будет это делать.